



М А К С

НОРДАУ

ВЫРОЖДЕНИЕ

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Эксклюзивная классика (АСТ)

Макс Нордау
Вырождение

«Издательство АСТ»

1892

УДК 1
ББК 87.3

Нордау М.

Вырождение / М. Нордау — «Издательство АСТ»,
1892 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-155164-3

«Вырождение» — самая известная и противоречивая книга Макса Нордау, написанная на стыке культурологии, философии и психиатрии. Нордау, ученик Шарко и Ломброзо, представляет свое объяснение явлению вырождения в западном обществе конца XIX века, иллюстрируя его примерами из работ наиболее ярких представителей искусства и философии своей эпохи: Вагнера, Ницше, Толстого, Ибсена, Уайльда и др. Культурный феномен «конца века» Нордау рассматривает как с медицинской точки зрения, считая дегенеративное искусство продуктом невроза, так и с социальной, отмечая негативное влияние упадка морали и разрушения традиционных структур общества, урбанизации и даже загрязнения окружающей среды. В формате PDF А4 сохранен издательский макет.

УДК 1
ББК 87.3

ISBN 978-5-17-155164-3

© Нордау М., 1892
© Издательство АСТ, 1892

Содержание

Назад или вперед? Предисловие к русскому изданию книги «Вырождение» 1894 г.	6
Вместо предисловия	20
I. Конец века (Fin de siècle)	22
«Гибель народов»	22
Симптомы болезни	27
Диагноз болезни	33
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Макс Нордау

Вырождение

© ООО «Издательство АСТ», 2024

* * *

Назад или вперед? Предисловие к русскому изданию книги «Вырождение» 1894 г.

Автор «Вырождения» хорошо у нас известен. Почти ни один из его трудов не остался не переведенным на русский язык, и все они читались с интересом, даже с увлечением. Чем это объясняется? Одним ли литературным дарованием автора, блеском и популярностью его изложения, его эрудицией? Нет, есть еще одно обстоятельство, быть может, наиболее существенное, заставляющее читателя относиться с особенным вниманием к трудам Макса Нордау. Он в них касается наиболее жгучих вопросов современности и обсуждает их с такой точки зрения, которая, на мой взгляд, представляет неизбежную ступень в развитии миросозерцания современной интеллигенции. Мы сейчас подробнее выясним нашу мысль, а пока хотим только заметить, что когда автор, занявший такую точку зрения и вполне подготовленный защищать ее с успехом, берется представить нам обзор почти всей современной литературы и искусства, когда он дает нам подробно мотивированную с этой точки зрения оценку наиболее выдающихся их представителей, начиная с французских и английских символистов и декадентов, разных Россетти, Суинбернов, Малларме, Верленов, Метерлинков и пр. и кончая такими мыслителями или художниками, как Толстой, Рихард Вагнер, Ницше, Ибсен, Золя, то его книга приобретает для широкой публики особенный интерес, потому что главные представители литературы и искусства постоянно привлекают к себе внимание всей интеллигенции, влияют на ее миросозерцание, а вместе с тем поглощают значительную часть ее умственной деятельности, направленной на удовлетворение высших интересов духа. Новый труд Макса Нордау, книга «Вырождение», написана с тем же блеском, с той же эрудицией, с той же способностью излагать самые сложные и отвлеченные вопросы в крайне доступной для всех форме, как и прежние его труды. Но, быть может, ни одно из его произведений не устанавливает так ясно преемственную связь между идеалами, которыми мы вдохновлялись недавно, и теми, которыми, вероятно, будем вдохновляться в недалеком будущем, не разрушает с такой силой многих заблуждений, предрассудков, суеверий, народившихся благодаря нашей неустойчивости, нашей склонности отрекаться от самых священных для человека жизненных принципов, не выясняет столь же наглядно несостоятельность овладевшего нами разочарования и не побуждает нас так красноречиво бодро приняться с новыми силами за осуществление задач, которые многие из нас уже готовы легкомысленно сдать в архив и заменить другими, совершенно несостоятельными, – как выясняет нам автор «Вырождения», – и во многих отношениях даже крайне опасными.

Замечательный труд нашего автора подвергся страстным нападкам еще раньше, чем вышла вторая часть, в которой окончательно выясняется его основная мысль. Напали на него и те, кто, по меткому выражению одного из наших философов, создают себе «идолов» вместо «идеалов», и те, кто присоседивается к знаменитости дня, чтобы обратить на себя внимание, и те, кто вторит разным шарлатанам, умеющим изобретать модные течения или ловко эксплуатировать их в свою пользу, и те, наконец, кто искренно жаждет и алчет правды, но не обладает достаточным критическим чутьем, чтобы разобраться в сложных отвлеченных вопросах, и поэтому, естественно, становится жертвой этих беззастенчивых людей. Вот эту самую многочисленную группу читателей и имеет главным образом в виду автор, прекрасно понимающий, что интеллигенция во всех цивилизованных странах переживает ныне время, которое можно охарактеризовать словами «в поисках истины». В новом своем труде наш автор говорит о «сумеречном» настроении, овладевшем европейской интеллигенцией, как отличительном признаке конца истекающего века. Прежние идеалы низвергнуты, новые не нарождаются, все, во что мы верили, утратило для многих обаяние, здоровый скептицизм заменился болезненным, чувствуется какое-то разочарование, пресыщение, словно мы опять «постыдно рав-

нодушны к добру и злу», «ненавидим и любим случайно», словно «жизнь нас опять томит, как ровный путь без цели», и мы опять опасаемся, что потомок оскорбит наш прах «насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом».

Но есть ли действительное основание «печально глядеть на наше поколение»? Вот этот-то вопрос и старается разрешить Макс Нордау. Он очень внимательно присмотрелся к современной жизни, как она проявляется в литературе и искусстве. Неутешительны выводы, к которым он приходит. Положение в современной литературе и искусстве напоминает ему больницу – сколько в них болезненного, ненормального. Но чем же вызвано такое безобразное положение? Тем ли, что наши идеалы действительно оказались несостоятельными, или, может быть, мы сами провинились в том, что не сумели должным образом постоять за них, что малодушно отrekliсь от них при первой неудаче, – отrekliсь от «мысли плодovитой» и поспешили замечать ее мишурой, прельщающей нас на миг, но готовящей нам только все новые и новые разочарования.

С чрезвычайной наглядностью и подчас с очень глубоким анализом Макс Нордау разъясняет нам, что мы действительно совершили недостойное зрелых людей отступничество. Чтобы лучше в этом отношении отметить его основную мысль и вместе с тем и главную его заслугу, мы считаем нелишним упомянуть здесь о том, о чем не говорится в книге, потому что оно имеет непосредственное отношение к избранной автором теме, но что тем не менее составляет фон той картины, которую мастерски изображает нам автор «Вырождения».

Спрашивается, почему теперь всюду интеллигенцией овладело «сумеречное» настроение, почему так часто наблюдается разочарование, болезненный скептицизм, почему продуманные «идеалы» заменены разными «идолами»? Были ли те идеалы, которые красили нашу жизнь, давали ей высший общественный, гражданский смысл, несостоятельны по существу? В таком случае «сумеречное» настроение конца века было бы вполне понятно и законно, и нам оставалось бы только искать новые идеалы, а пока они не найдены, «томиться жизнью, как ровным путем без цели». Но не заключается ли в такой постановке вопроса, как будто соответствующей теперешнему настроению большинства интеллигентных людей, явная нелепость? Человечество начало жить не вместе с нами: историческая его жизнь измеряется уже тысячами, и целые тысячелетия длится его постепенное приближение к большему благополучию, к большей сумме счастья на земле. И всегда ход исторического развития был таков, что идеалы постепенно видоизменялись, коренясь в прошлом, развиваясь в настоящем, подготавливая почву для будущего. Что за странный самообман, принимающий характер сомнения, – думать, что этот вечно неизменный исторический процесс обрывается нашим кратким земным существованием, что грядущее «пусто иль темно», потому что мы сами изверились в наших идеалах! Это напоминало бы человека, который, будучи опечален и убит изменой любимой женщины, сам пришел к убеждению и стал убеждать других, что истинная любовь на свете невозможна. Следовательно, самая постановка вопроса нелепа и объясняется исключительно тем, что мы слишком нетерпеливы, хотим сразу видеть на деле результаты той «мысли плодovитой», в которую мы верили, которой мы увлекались, ради которой готовы были самоотверженно бороться. Вследствие этого получается потешный оптический обман: вся вековая жизнь человека как бы отождествляется с жизнью данного поколения. Мы не понимаем, что какие-нибудь тридцать лет составляют ничтожный промежуток времени даже сравнительно с одной только исторической жизнью человечества. Но как ни нелеп подобный самообман, он весьма распространен и является источником того разочарования, того «сумеречного» настроения, которое ныне наблюдается среди европейской интеллигенции и находит себе совершенно ясное выражение в литературе и искусстве с их пессимизмом, склонностью вернуть давно минувшее прошлое, скептицизмом по отношению к тому, что было для нас священным еще так недавно. Мы имеем тут дело с очень широким общеевропейским течением, народившимся вместе с философией XVIII века, нашедшим себе выражение в великом перевороте конца этого века,

отразившимся самым решительным образом на мирозерцании всех образованных людей, вызвавшим во всех странах неумеренные надежды и завершившимся, как оказывается, общим утомлением, разочарованием. Течение это охватывает собой всю частную, общественную и политическую жизнь. В политической жизни оно означает ниспровержение прежних форм; в общественной – постепенное приобщение все новых классов к культуре; в частной – освобождение индивида от разных форм подавления свободы одной личности произволом или интересами других. Источник всех этих многообразных явлений, однако, один: все они сводятся к распространившемуся убеждению, что возможность прогресса, достижения большего благополучия всех людей вообще и каждого в отдельности зависит главным образом от установления свободы. Таким образом, свобода и составляет тот идеал, в который мы верили и в котором мы начинаем теперь сомневаться, отрекаясь одновременно от него и в политической, и в общественной, и в частной жизни. В политической жизни наблюдается реакция против столь прочно установившегося убеждения о без условной спасительности народовластия. Реакция эта принимает самые разнообразные формы и наблюдается одновременно почти у всех народов: и парламентаризм, и наиболее прогрессивные формы правления, и всеобщая подача голосов встречают страстных антагонистов даже в том лагере, где, казалось бы, их менее всего можно было бы ожидать. Раздаются голоса, не только утверждающие, что все политические нововведения послужили единственно на пользу буржуазным элементам, но заявляющие, что новые политические формы, созданные великим переворотом конца прошлого века, представляют собой препятствие к достижению нормального развития государственной жизни. Политическая равноправность наталкивается на отпор не только со стороны деятелей, враждебных свободе, но и со стороны лиц, по-видимому, больше всего ею дорожащих. Последним представлением народной массе широких политических прав начинает представляться опасным с точки зрения обеспечения всех видов свободы, которыми наиболее дорожит просвещенная часть общества: религиозные свободы, свободы слова и мысли. Существует какое-то смутное предчувствие, что народная масса, столько веков стоявшая в стороне от культурной жизни, еще погрязшая в невежестве, в религиозных и экономических предрассудках, заручившись политическим влиянием, отнесется пренебрежительно к тому, что просвещенному человеку дороже всего на свете.

Не менее значительна и реакция в области общественной, преимущественно экономической. И тут формальное уравнение в правах признается началом далеко не столь обаятельным, как еще недавно. Если нормальный общественный строй должен заключаться в том, чтобы всякое лицо, каково бы ни было его положение, пользовалось элементарными условиями, достойными человеческого существования, и имело возможность соответственно со своими умственными способностями и нравственными качествами пролагать себе дорогу в жизни, то и тут свободой не достигается предположенная цель, потому что многочисленные группы населения, вследствие полной экономической своей неспособности и вследствие господства капитала, не могут ею воспользоваться: она существует для них только на бумаге, а на деле говорить им о свободе – значит над ними издеваться. Вот та почва, на которой упрочивается сознание необходимости подавления свободы одних для доставления свободы другим, и это сознание проявляется теперь с большой силой в новом учении, которое принято называть государственным социализмом и которое является прямым отрицанием тех начал общественной свободы, которыми так сильно дорожили и мы сами, и наши отцы.

Наконец, в сфере частной польза свободы также подвергается многообразным сомнениям. Простое устранение тех пут, которые стесняли личность, представляется уже недостаточным. И в этом вопросе всюду происходит реакция. Какую сферу частной жизни ни иметь в виду, везде мы наталкиваемся на сомнения, на отрицание: идеал личности совершенно свободной в преследовании своих целей, поклоняющейся единственно разуму как высшему своему законодателю, опирающейся в своей деятельности исключительно на знания, гордящейся

ими и отвергающей все, что составляет преграду для жизни согласно природе, – этот идеал если не сдан в архив, то в значительной степени омрачен, и вместе с тем иссякает тот источник света, которым озарялась наша жизнь. Гордый человек, уверенный в себе, порывавший связь с прошлым и бодро глядевший в будущее, начинает смиряться: и им овладело разочарование, утомление, «сумеречное настроение», нашедшее себе столь ясное выражение в современной философии. То и дело возникает новое философское мирозерцание, представляющее полный контраст с недавним жизнерадостным настроением. Стоит назвать Шопенгауэра с его проповедью небытия, Ницше – с его презрением к черни и возвеличением избранных, аристократических натур, Толстого – с его приглашением подражать в жизни непросвещенной народной массе, стоит указать на замену жизнерадостного скептицизма, увлечения положительной наукой возвратом к суеверию, пессимизмом, отвращением к жизни, чтобы понять, как глубок перелом, совершившийся в мирозерцании современной интеллигенции. Как бы ни различны были наши взгляды на этот перелом, одно несомненно: и в частной жизни свобода перестает быть тем идеалом, которому мы поклоняемся.

Вот на фоне всех этих мировых явлений и начинает обрисовываться мирозерцание, раскрывающее нам перспективу лучшего будущего, построенное не на отрицании всего, чем мы дорожили, что было для нас наиболее святого, а на укреплении, на дальнейшем развитии тех политических, общественных и индивидуальных начал, для торжества которых боролись наши отцы и деды и которые и мы призваны защищать против надвигающихся «сумерек». Одним из наиболее талантливых и дельных борцов этого рода и является автор книги «Вырождение». Каждая страница его труда свидетельствует о том, что он верит в будущее, построенное на забываемых, но не забытых еще идеалах знания и свободы. В этом – громадное значение его книги, появляющейся именно в такой момент, когда философы с громкой известностью и руководители общества, вторя людям, теряющим мужество при временных неудачах, ополчаются против науки, против энергического дела, направленного к созданию лучших условий, против борьбы и рекомендуют нам пассивность, возврат к невежеству, отвращение к жизни, самоуничтожение...

На чем, однако, основывается наш автор, утверждая, что он в рамках обсуждаемого им вопроса «пришел не нарушить закон или пророков, а исполнить»? Мы видели, что преемственность идеалов утрачена главным образом в смысле овладевшего умами недоверия к плодотворности свободы. Почему мог возникнуть и широко распространиться именно этого рода скептицизм или, выражаясь иначе, почему рационализм с его глубокой верой в разум человека и материализм с его глубокой верой в природу человека, в плодотворность освобождения ее от стесняющих ее пут заменились мистицизмом, пессимизмом? Не заключается ли причина этого явления в том, что мы не совсем верно оценили и человеческий разум, и человеческую природу? В самом деле, вернемся к исходной точке указанного нами широкого течения, охватившего европейскую мысль во второй половине прошлого века. Самым грандиозным проявлением рационализма в жизни была Великая французская революция. Ни у одного народа увлечение свободой не проявилось с такой внезапной силой, как у французов в конце прошлого века. Это был страстный, необузданный порыв, своего рода опьянение. Власть оказалась в руках самых стойких и убежденных борцов за свободу. Они сокрушали все на своем пути, не было силы, которая могла бы им противостоять. Остальные народы с надеждой взирали на Францию, уверенные, что из этой страны последует окончательная отмена всего, что тормозило установление царства свободы. Оказалось, однако, что и сама Франция, и другие народы обманулись в своих ожиданиях. Люди, совершившие первую французскую революцию, были убеждены, что, как только свобода восторжествует, народ сумеет ею воспользоваться для обеспечения своего благополучия. Это было необходимым предположением всего поворота. Но не замедлило выясниться, что народ сам начал восставать против своих освободителей, и кончилось дело тем, что он их устранил и выдвинул Наполеона, т. е. деятеля, отменившего все

народные права. Защитники свободы вступились за народ, а он их отверг. Значит, они в нем ошиблись. Уже в то время более дальновидные деятели заговорили о том, что неудача Французской революции объясняется неверной оценкой народных стремлений, недостаточным знакомством с тем «великим незнакомцем», который тогда впервые выступил на политическую сцену в качестве полновластного хозяина. Все глубокие исследователи Французской революции вплоть до наших дней подтвердили этот взгляд на дело.

Но как могла произойти подобная ошибка? Незнание народа было неизбежным последствием того направления, которое приняла наука в эпоху Возрождения и в Новое время. Мыслители не замечали, что они, в сущности, работают над мертвым материалом. В основании философии, государствоведения, юриспруденции лежала, конечно, человеческая природа, но когда говорили о человеке, то имели в виду существо, все еще носившее римскую тогу или средневековый костюм рыцаря, прелата, судьи, буржуа. Надо ли пояснять, что и философия, и история, и политика, и юриспруденция были проникнуты взглядами, почерпнутыми из классической древности, что, когда деятели первой французской революции приступили к своему перевороту, они, устанавливая царство свободы, как бы чувствовали себя на древнеримском форуме, что им сдавалось, будто они со своими речами обращаются к свободолюбивым римлянам? Но римлян давным-давно не существовало, и вся эта ошибка была тем более роковая, что, в сущности, и в науке, и в жизни приходилось решать вопрос, который остался неразрешенным классической древностью, который вызвал крушение всего классического мира, – вопрос о том, как приобщить «великого незнакомца» к культурной жизни ничтожного числа людей, опередивших его в своем умственном развитии на многие века. Этот «великий незнакомец» не имел никакого понятия ни о классической древности, ни о науке, ни о тех духовных благах, которыми дорожила кучка людей, управлявших его судьбой. Очень низменны были его интересы, хотя в то же время и очень насущны, а его мирозерцание совершенно не совпадало с теми блестящими идеалами человеческой жизни, которые просвещенные люди унаследовали от классической древности.

Почти то же повторяется и до наших дней. Когда мы ведем борьбу за свободу, мы обыкновенно имеем в виду отвлеченного человека или, в лучшем случае, таких же людей, как мы сами. Но между современным интеллигентным человеком и народной массой все еще существует, особенно в некоторых странах, например у нас, такая же громадная разница, как между деятелем Французской революции, воспитанным на классических идеалах, и крепостным, только что начинавшим выходить из средневекового мрака, из состояния, мало чем отличавшегося от тяжелой участи вьючного животного. Вот один из источников разочарования, постоянно нас постигающего. Ошибка, совершенная теорией и практикой в конце прошлого века, была отчасти признана. Это дало и литературе новое направление. Псевдоклассицизм исчез: все эти греки и римляне, полубоги, цари, герои, знатные люди, составлявшие почти исключительно предмет художественного творчества, постепенно сошли со сцены, и на ней начали фигурировать представители «третьего сословия» – буржуазные элементы, как впоследствии наряду с ними в литературе появляются мужик и пролетарий. Это было внешним проявлением признания совершенной ошибки, отразившегося и на науке. Рационализм, философия XVIII века постепенно начали утрачивать кредит. Народился материализм как реакция против рационализма, и это учение изумительно быстро всюду распространилось именно потому, что оно соответствовало стремлению найти новые основы для жизни вместо тех, которые оказались несостоятельными. Всем прежним общественным учреждениям и установлениям была объявлена беспощадная война во имя человеческой природы, во имя врожденных ее инстинктов, потребностей, стремлений. Одностороннее поклонение духу было заменено односторонним поклонением материи в грубом смысле этого слова. Но если на рубеже XVIII и XIX веков выяснилось, что рассчитывать на человеческий разум как на величину неизменную ни в каком случае нельзя, то во второй половине нашего века выяснилось, с такой же очевидностью, что и при-

рода человека с врожденными ее инстинктами не неизменная величина, что если разум и природа у всех людей одинаковы, тем не менее они представляют в частностях такие различия, которые в практическом отношении, в данное время и в данном месте, должны неизбежно очень сильно отразиться на политических и общественных условиях и установлениях. Таким образом, интеллигенция была вторично приведена к необходимости ближе изучить «великого незнакомца», глубже взглянуть и в себя.

Но надо ли пояснять, что все это как бы разрушало прежнее, столь ясное и определенное мирозерцание. Оказывалось, что мы лишены всяких твердых руководящих начал. Сперва приходится внимательно изучить среду, в которой мы хотим действовать, а потом уже действовать. Словом, оказалось, что человечество не обладает еще тем талисманом, не додумалось еще до той панацеи, которые обеспечивали бы внезапные успехи на пути прогресса и установления общего благополучия.

Может ли, однако, этот вывод служить основанием для наблюдаемого теперь пессимизма, для того «сумеречного» настроения, о котором говорит Макс Нордау? То, что случилось с нами, постоянно повторялось в истории. Ни одно поколение не избегло сознания, что идеалы, им выставленные, нуждаются в дальнейшем совершенствовании, что истина как бы недоступна человеку. Но это еще не может служить причиной ни для пессимизма, ни для проповеди возврата к тем первичным временам, когда наука и свобода занимали в сознании людей очень скромное место. Пессимизм и проповедь этого рода могли бы считаться законными только в том случае, если бы кому-нибудь удалось доказать, что человечество в своем развитии идет не вперед, а назад; но представить убедительные доказательства в пользу такого взгляда на дело, конечно, никому еще не удалось, а вместе с тем было бы малодушием предаваться отчаянию по поводу разных временных неудач. Мы действительно и видим, что, несмотря на появление пессимистических учений и на проповедь о тщете науки, о непротивлении злу, неделания и т. д., народы в общем идут бодро вперед и на практике менее всего склонны внимать подобного рода проповеди, а неустанно и с напряжением всех сил трудятся на пользу расширения своих знаний, на пользу науке, этой основы всякой плодотворной деятельности, направленной к обеспечению человеческого благополучия. Если мы на практике делали неправильные выводы из науки, то виновата в этом не она; если она не всегда сразу доходит до верных выводов, то, с другой стороны, нет сферы человеческого мышления, которая представляла бы в этом отношении больше гарантий, потому что наука по существу своему дорожит истиной, одной только истиной; сама же она предполагает, как неперемненное условие своего успеха, свободу, потому что без свободы она, как известно, столь же мало может жить, как организм без воздуха.

Но тем не менее среди некоторой части интеллигенции как у нас, так и в остальной Европе наблюдается разочарование, пессимизм, какое-то инстинктивное отвращение к жизни и к тем лозунгам, которыми мы так недавно еще страстно увлекались. Мы отметили уже одну из основных причин этого явления. Действительность не оправдала наших ожиданий. Но если этот вывод и верен, то спрашивается, почему мы могли предаваться таким неумеренным ожиданиям, почему мы, вопреки вековому историческому опыту, могли подумать, что человечество вдруг сделает громадный скачок и сразу завоюет себе полное благополучие? Трудно подыскать другую историческую эпоху, когда человечество вообще или почти все народы в отдельности пережили бы такую массу грандиозных событий, как именно последнее столетие. В этот промежуток времени человечество, выражаясь фигурально, шло форсированным маршем к цели, которую, как ему казалось, оно ясно видело. Но в общем для всего человечества и в частности для всякого отдельного народа выяснилось, по мере приближения к этой цели, что она не так заманчива, не сулит такого коренного излечения всех недугов, какого от нее ожидали. Значит ли это, однако, что самая цель, говоря объективно, является чем-то призрачным, чем-то не заслуживающим усилий и жертв, принесенных ради нее? Или, наоборот, самая цель вполне достойна этих усилий и жертв, и если она нас не соблазняет по-прежнему, то

только потому, что мы дорожили ею не как люди, глубоко убежденные в ее плодотворности и спасительности, а как люди, ожидавшие от нее личных благ. Таким образом, мы подошли к отмеченному уже нами вопросу с другой стороны. Если свобода является таким ценным благом, что для нее стоит жить с забвением личных своих выгод, то в то же время, дорожа ею, мы должны самым внимательным образом относиться к условиям, вернее всего обеспечивающим ее торжество в жизни. Между этими условиями одно из первых мест занимает настроение народа во всей его совокупности. Вместе с тем психология общества и вообще народных масс приобретает для нас громадное значение. Но общество и народные массы состоят из отдельных индивидов, следовательно, индивидуальная психология имеет такое же, если не более существенное, значение. Будем ли мы изучать вопрос, как вернее всего обеспечить царство свободы, или вопрос о том, почему человечество так медленно приближается к нему и отчего его в этом деле столь часто постигают разочарования, – мы одинаково убедимся, что ответ на эти вопросы может нам дать только внимательное изучение народной души, слагающейся из воззрений, верований, стремлений отдельных индивидов. Следовательно, конечным нашим выводом должен быть не пессимизм, не малодушное отречение от вековых идеалов. Нет, сильный человек, совершив ошибку и сознав ее, спешит исправить ее и бодро идет вперед. Наши деды переоценили силу разума, мы сами переоценили данные человеку природой инстинкты, и та и другая ошибка произошла вследствие недостаточного изучения реального человека. Получилось неверное мирозерцание, но и вынесенный нами исторический опыт и изумительные успехи точного знания дают нам полную возможность заменить его новым, более состоятельным.

Действительно, мы и видим, что как искусство, так и наука вступили именно на этот путь. Страстность, с какой ныне всюду разрабатываются отчасти социология, отчасти психология и в особенности психофизиология, свидетельствует о том, что человечество поняло, в какой тесной зависимости находится общее благополучие, обеспечиваемое вернее всего знанием и свободой, от правильной оценки психологической жизни отдельных индивидов и народных масс с точки зрения естественных законов, ею управляющих. Но до сих пор громадная область человеческой мысли почти совсем не изучалась именно с этой точки зрения. Это тем более прискорбно, что область человеческого мышления, о которой мы говорим, в сущности, имеет очень решительное влияние и на практическую деятельность. Философия, изящная литература и искусство подготовляли в жизни народов грандиозные перевороты и постоянно влияли на тот или другой ход событий. Между тем именно эти области человеческой мысли почти совсем не подверглись исследованию с точки зрения естественных законов, управляющих мыслительной деятельностью человека. В художественной критике существуют всевозможные методы: сравнительный, исторический, эклектический, догматический или тенденциозный, под которым мы разумеем оценку художественных произведений с точки зрения излюбленной критиком идеи, имеющей для него значение догмата, но психологический метод занимает пока очень скромное место. Правда, при оценке того или другого писателя обыкновенно приводятся данные из его жизни, влиявшие на направление его мысли, но самая мысль почти никогда не подвергается анализу с точки зрения психофизиологических законов. Объясняется это, конечно, тем, что психофизиология представляет собой науку еще сравнительно новую, во многих своих частях еще мало разработанную, но до сих пор не сделано никакой серьезной попытки воспользоваться для критики художественных произведений теми важными выводами, к которым она уже пришла. Первая серьезная попытка этого рода принадлежит автору «Вырождения», и надо отдать ему справедливость, что он своей книгой бросает яркий свет на художественное и отчасти на научное творчество в психологическом отношении.

Как Макс Нордау был приведен к этой попытке, он нам сам разъясняет в своем труде. Толчок ему дан работами Ломброзо, преимущественно книгой «Гениальность и помешательство», в которой, как известно, проводится та мысль, что необыкновенные дарования весьма

часто составляют проявление болезни нервной системы. Но у Ломброзо этот вывод вытекает из более общей мысли, которая сводится к тому, что разные отклонения от нормального типа в ту или другую сторону, т. е. в сторону необыкновенного дарования или в сторону отсутствия самых обыкновенных умственных способностей, в сторону ли необычайных нравственных качеств или необычайной порочности, в значительной степени одинаково обуславливаются ненормальным состоянием нервной системы. Нечего и пояснять, как у Ломброзо получился этот вывод. По профессии он – психиатр и, следовательно, имел возможность очень много наблюдать жизнь душевнобольных. Вместе с тем он, понятно, делал соответственные обобщения, подводил факты под известные рубрики и затем перенес полученные этим путем выводы на людей, не подчиненных непосредственно его наблюдению, но представлявших в умственном отношении большое сходство с его пациентами. Другими словами, клинические наблюдения распространяются этим путем на всех людей, и исследователь ищет аналогии между вполне выраженными формами умопомешательства, какие представляют лица заведомо больные, и менее отчетливо проявившимися формами той же болезни, встречающимися у людей, признаваемых здоровыми. Наблюдения, сделанные Ломброзо над душевнобольными, привели его к дальнейшему развитию понятия о вырождении, как о болезненном отклонении от нормального органического состояния. Вопрос для него сводился к тому, чтобы определить, насколько в жизни встречаются те формы вырождения, которые он наблюдал у душевнобольных, и у него получился тот вывод, что многие особенности в жизни людей, признаваемых нормальными, в сущности объясняются отклонениями их организма от нормы, т. е. вырождением. Сюда относятся многообразные явления в душевной жизни: выдающееся дарование, склонность к преступлениям, половая извращенность и т. д. Но не будем останавливаться на этом вопросе, потому что выводы, к которым пришел Ломброзо, общеизвестны. Мы же напомним о них только для того, чтобы выяснить, каким образом Макс Нордау напал на мысль подвергнуть выдающихся представителей современной литературы и современного искусства анализу с указанной Ломброзо психиатрической точки зрения. Сам автор «Вырождения», как известно, – психиатр; кроме того, он очень внимательно занимался европейской литературой. Таким образом, он оказывается вполне подготовленным к решению принятой им на себя задачи. Понятие о вырождении, несмотря на многие очень интересные и дельные работы, не может считаться прочно установленным в науке, главным образом потому, что внешние признаки органического состояния, которое принято называть вырождением, страдают еще некоторой неопределенностью, особенно когда имеются в виду признаки не физического, а духовного вырождения. Отличить нормального в умственном отношении человека от ненормального бывает иногда очень трудно, и даже психиатры не всегда могут в точности определить, следует ли признать данное лицо здоровым или больным. Есть даже много форм ясно выраженных нервных болезней, очень значительных и вполне подходящих под клиническую картину вырождения, при которых, однако, о душевной болезни в собственном смысле слова не может быть речи. Сюда относятся очень распространенные в настоящее время формы болезни – неврастения и истеричность. Но с точки зрения поставленной себе Нордау задачи не в этом вопрос. Человек может сохранять свое положение в обществе и тем не менее быть душевнобольным в широком значении этого слова: на вид трудно будет отличить его от нормального человека, но на самом деле нормальная его жизнь вполне нарушена. Нордау устанавливает целый ряд признаков такого отклонения от нормы, причем, по большей части, подтверждается, что мы в том или другом случае имеем дело с людьми действительно больными. Изучая с этой точки зрения писателей и художников, он приводит весьма убедительные данные в пользу своего тезиса. Некоторые из писателей, обращающих на себя теперь общее внимание, оказываются помешанными в буквальном смысле этого слова: таков, например, наделавший столько шуму своими трудами новейший немецкий философ Фридрих Ницше; таков отчасти глава французских символистов поэт Верлен; другие хотя и не могут быть признаны помешанными в

буквальном смысле этого слова, но представляют в своей жизни и деятельности несомненные признаки полного соответствия с клинической картиной вырождения. При этом оказывается, что писатели или художники, страдающие этими признаками, представляют в то же время в своем мирозерцании наибольшее отклонение от мирозерцания, свойственного громадному большинству просвещенных людей. Автор «Вырождения» с замечательной глубиной анализа выясняет нам психологические основания этого явления. Особенно интересной и глубокой представляется нам глава, посвященная психологии мистицизма. Возрождение мистицизма, широкое распространение этого душевного настроения в значительной степени действительно объясняется, как верно разъяснил нам Нордау, психологическими причинами, утомлением, вызываемой им неспособностью к сосредоточенному вниманию и склонностью предаваться расплывчатым грезам. Понятно, что при таком настроении интерес к положительному знанию должен ослабевать, что и строгая преемственность задач, разрешаемых постепенно человеком с большим напряжением сил, не может казаться особенно привлекательной. Отсюда наплыв в литературу и искусство разных фантастических планов, не построенных на точном изучении действительности; отсюда и склонность выбрасывать за борт наиболее продуманные и прочные идеалы и заменять их мишурой, фантазмагориями, для создания которых требуется только фантазия, отрешающаяся от реальной почвы и витающая в туманных представлениях.

Нам кажется, что те части труда нашего автора, которые посвящены именно этой стороне вопроса, наиболее продуманы и значительны. Но как бы то ни было, нельзя по примеру некоторых легкомысленных людей дискредитировать чрезвычайно поучительные и подчас глубокие выводы нашего автора указанием на недостаточно почтительное отношение его к общепризнанным авторитетам. Ни один здравомыслящий человек не откажется признать по прочтении главы, посвященной Фридриху Ницше, что этот новоявленный философ, наделавший всюду столько шума и принятый всерьез даже многими специалистами по философии, – на самом деле просто помешанный. К тому же упреки, расточаемые по адресу Нордау за его непочтительность к признанным авторитетам, недобросовестны. Читатель убедится из его труда, что он вполне признает громадное художественное дарование таких писателей или музыкантов, как Толстой, Золя, Рихард Вагнер, что он не отрицает значительного дарования даже, например, у Верлена или какого-нибудь Пеладана. Но для него вопрос вовсе не заключается в этом. Он ясно определяет предмет своего исследования и свой метод. Он задался целью выяснить, насколько клиническая картина вырождения подходит к разным выдающимся современным писателям и художникам. Следовательно, и критика труда Нордау должна быть направлена в эту сторону, т. е., чтобы опровергнуть выводы Нордау, надо доказать, что причисляемые им к разряду выродившихся субъекты писатели и художники ошибочно включены в этот разряд, что их душевная и умственная жизнь представляет картину нормальную, а не картину болезненного состояния нервной системы.

Плодотворность метода Макса Нордау в оценке философских и художественных произведений заключается именно в том, что, благодаря этому методу, мы получаем возможность яснее разграничивать разные стороны творчества, которые до сих пор по большей части смешиваются. Мы, например, яснее понимаем то, что до сих пор чувствовали только более глубокие критики, именно, что данный писатель может быть значительным художником и в то же время весьма посредственным или даже совершенно несостоятельным мыслителем. Очень ценны в этом отношении выводы, к которым приходит наш автор, изучая вопрос об ассоциации идей и о роли, которую тут играет способность сосредоточить внимание, т. е. сознательно контролировать часто произвольную игру ассоциации идей. Человек легковозбуждаемый, т. е. со слабой, расстроенной нервной системой, подчиняющийся внешним впечатлениям, не способен объективно относиться к жизни и ее явлениям. Менее значительные, но непосредственно на него действующие явления представляются ему очень важными, другие, несравненно более значительные, но не действующие на него непосредственно, кажутся ему несущественными.

Таким образом, в нем вырабатывается сильный субъективизм, мешающий ему трезво относиться к действительности. Но если его ум поэтому неспособен к спокойному, логическому, беспристрастному мышлению, то, с другой стороны, он вследствие силы, с которой нервная система воспринимает впечатления, может отражать их гораздо ярче, точнее, художественнее. Вот почему, например, заведомо больные личности, вроде, например, Верлена, могут в известных жанрах художественного творчества писать недюжинные произведения или даже проявить значительный талант, между тем как во всех вопросах, где требуется строгая последовательность и трезвое отношение к действительности, они проявляют полную неспособность. Вот почему, например, суд Нордау над таким замечательным художником, как Лев Толстой, оказывается в одно и то же время чрезвычайно для него лестным и отрицательным – лестным, когда он оценивает Толстого как художника, отрицательным, когда он подвергает, надо признаться, блестящему анализу его философскую систему, на поверку оказывающуюся не чем иным, как субъективным отражением разных непроверенных и непродуманных, но сильно воспринятых внешних впечатлений. Таков же суд Нордау над Ибсеном и отчасти над Золя. Оскорбляться за всех этих писателей, негодовать на Нордау за то, что он будто бы их развенчивает, совершенно неуместно. Это значит только подчиняться впечатлению, а не вдуматься в основную мысль нашего автора, который далек от намерения лишить перечисленных писателей обаяния выдающихся художников и старается установить только правильный психологический критерий для выяснения их мирозерцания. Их заслуги заключаются в сфере художественной, и было бы своего рода фетишизмом поклоняться и таким сторонам их деятельности, в которых они ясно оказались несостоятельными.

Наш автор, внимательно наблюдая разные течения умственной жизни современного общества, не мог не поразиться явлению, что такого рода фетишизм ныне очень распространен и представляет собой даже серьезную опасность с точки зрения нормального развития общественной мысли. Он задается в своем труде вопросом: почему интеллигенция почти всех стран склонна увлекаться явно психопатическими художественными произведениями, почему, например, в Европе относятся довольно равнодушно к таким перлам художественного творчества, как «Война и мир» или «Анна Каренина» Толстого, и зачитываются «Крейцеровой сонатой» и философскими этюдами того же автора. Почему Германия и другие страны могли принять всерьез явно сумасшедшего философа Ницше; почему в Ибсене прельщает толпу то, что есть в нем наиболее несостоятельное, а достоинства его произведений не обращают на себя внимания; почему разные бездарные символисты, декаденты, инструментисты серьезно комментируются и выставляются даже людьми передовыми, новаторами в искусстве и в литературе и т. д. Такой вопрос, естественно, привел к оценке тех побуждений, которые заставляют интеллигентную толпу отречься от трезвой оценки художественных произведений и увлекаться разными проявлениями явно больного человеческого духа. Критика, анализ этих побуждений интеллигентной толпы задумана нашим автором с психологической точки зрения очень глубоко. Самые блестящие его труды посвящены именно рассмотрению этого вопроса. Оказывается, что больные художники и мыслители пользуются такой популярностью, потому что сама толпа больна. Наш автор называет ее болезнью вырождением, т. е. проводит ту мысль, что вследствие целого ряда условий нервная система и ее деятельность у большинства интеллигентных людей ненормальна, что она уклонилась от того состояния, которое можно признать здоровым. Мы не станем перечислять здесь все условия, расстраивающие нервную систему нынешней интеллигенции, тем более что на этот счет серьезных сомнений существовать не может. Жизнь современных интеллигентных людей действительно складывается так, что надо удивляться, как процент душевнобольных, истеричных, неврастеников в сущности еще так мал. В перечислении условий, столь неблагоприятно отражающихся на умственном здоровье интеллигенции, встречается у Нордау еще пробел: он не касается неблагоприятного влияния, которое имеет школа на нервную систему – вследствие чрезмерных требований, предъявляемых учащимся, –

и вообще вся современная воспитательная система, гибельно отражающаяся на нервной жизни подрастающих поколений. Следовательно, та мрачная картина, которую рисует нам Нордау, может быть еще дополнена, а вместе с тем мы получаем ясное представление о всей совокупности условий, разрушительно влияющих на нервную систему и искажающих умственную и нравственную жизнь современной интеллигенции. Чрезмерная впечатлительность, субъективизм в определении значения разных жизненных явлений, эгоизм как следствие этого субъективизма, склонность к предоставлению воли фантазии, не стесняемой наблюдением, опытом, вниманием, мистицизм как результат этой склонности, нерасположение относиться трезво к действительности, неспособность к выдержанному труду, нравственная извращенность, психопатизм во всех его видах, пессимизм как следствие болезненного состояния и неудовлетворенности, склонность к самоубийству – все это и составляет почву, на которой широко распространяются разные художественные произведения и философские учения, несостоятельные по существу, но прельщающие значительное число людей, находящих в них отражение своих собственных болезненных чувств или оправдание своим извращенным инстинктам, своим психопатическим стремлениям. С большой силой анализа Нордау выясняет нам эту сторону вопроса. Кроме того, он указывает, как эти болезненные течения общественной мысли умышленно поддерживаются и усиливаются разными лицами, вполне здоровыми в умственном отношении, но заинтересованными в их распространении для корыстных целей, чтобы самим выдвинуться, обратить на себя внимание и доставить себе материальные выгоды. Спекуляция на психопатических течениях общественной мысли достигает в настоящее время очень широких размеров. Как всякая другая спекуляция, она, конечно, не имеет самостоятельного значения, но во всяком случае сильно способствует дальнейшему развитию этих течений, тем более что и печать все более забывает о своей роли руководительницы общества и превращается в прислужницу его дурных инстинктов. Таким образом, психопат-писатель или художник, встречающий сочувствие среди других психопатов, имеет в своем распоряжении и печать, пропагандирующую его имя и его идеи, чтобы заручиться читателями, и таким образом общественная мысль систематически вводится в заблуждение.

Это положение дел чрезвычайно ярко отмечено в книге нашего автора. Вместе с тем мы получаем и разгадку того странного и печального явления, что вековые идеалы человечества заменяются разными модными течениями, болезненный характер которых бросается в глаза всем нормальным людям, но многими из них, как мы видели, умышленно затемняется. Если за последнее время могли развиваться и получить широкое распространение такие теории, как прославление небытия и прекращения рода человеческого путем полного воздержания от половой жизни, непротivление злу, проповедь в пользу эксплуатации народных масс для целей отдельного, сильного индивида, пламеннейшие филиппики против цивилизации и науки, признание законности самых извращенных инстинктов и т. д., то чем же это объясняется? Мы видели, что чрезмерные надежды, возбужденные всюду эрой грандиозных событий и реформ, начавшихся с конца прошлого века Великой французской революцией и завершившихся освобождением крестьян в России, сбылись только в слабой степени. Следствием этого было разочарование, проявляющееся более или менее сильно во всем цивилизованном мире. Ни политические, ни социальные реформы, даже очень коренные, не оправдывают тех блестящих надежд, какие на них возлагались. Но это разочарование, как мы также уже выяснили, не могло бы получить такого широкого распространения, если бы жизненная энергия европейской интеллигенции не была ослаблена совокупностью многообразных невыгодных условий, расшатывающих нервную систему большинства образованных людей. Здоровый человек, даже когда его постигают очень тяжелые неудачи, не опускает рук, а быстро оправляется и с новыми силами принимается за дело, отыскивая другие пути для достижения основной своей цели. Но больной человек с расстроенной нервной системой впадает в уныние, трезвость мысли его покидает, он начинает предаваться бесплодному горю и часто ради призраков жертвует тем, на

что указывает ему и долг, и совесть, и вся предшествовавшая его деятельность. Таким болезненным состоянием одержима, как чрезвычайно метко выясняет нам Нордау, значительная часть современной интеллигенции. Поэтому при постигшем ее разочаровании она стала предаваться пессимизму или хвататься, как за единственный якорь спасения, за другие модные теории, несостоятельные по существу, но часто излагаемые с большим художественным дарованием. Вместо того чтобы понять свою ошибку, проникнуться сознанием, что она недостаточно изучила условия, при которых ей приходится действовать, и приняться с новым рвением за анализ этих условий, чтобы вернее прийти к цели, она внимает разным лжепророкам, творящим легкомысленный суд над вековыми идеалами человечества, приглашающим ее вернуться назад в дебри невежества или проповедующим самоуничтожение. Больные творцы подобных модных теорий возвеличиваются больными их поклонниками. Искусство и литература все более наводняются подобными произведениями, в которых человечеству вместо здравых взглядов на жизнь предлагаются мыльные пузыри. Наш автор не делает одного чрезвычайно характерного вывода, прямо вытекающего из его блестящей характеристики современных выдающихся писателей. Не крайне ли любопытен и поучителен факт, что и символисты, и декаденты, и Верлен, и Рихард Вагнер, и Толстой, и Ницше, и отчасти Ибсен – все, как бы по взаимному уговору, ищут идеалы в отдаленном прошлом, – кто в средневековом мраке, кто в еще более глубокой старине, кто даже в первобытном состоянии человечества. Выходит, как будто историческое развитие завело человечество в глухой переулок, что оно оказалось перед крепкой и высокой стеной, которую ни обойти, ни пробить, ни разрушить нельзя. Действительно, почти все выдающиеся представители литературы и искусства теперь в один голос кричат нам: «Назад, назад!» Этот лозунг, однако, противоречит природе вещей. Остановки в поступательном движении и даже шаги назад возможны и часто встречались в истории. Но это были временные остановки, и человечество делало шаг назад только для того, чтобы с новыми силами двинуться вперед. Во всяком случае, мы впервые наблюдаем в истории, чтобы выдающиеся мыслители и писатели, слава и надежда своих народов, призывали человечество к регрессу, освящали своим авторитетным словом то, что всегда было и остается крайне обидной и печальной временной необходимостью. Отмеченные нами явления, несомненно, служат признаком болезненного настроения. Нельзя признать нормальным такое положение вещей, когда внимание интеллигенции систематически отвлекается от насущных задач, обеспечивающих благополучие человечества, когда действительность с ее непреложными требованиями начинает представляться сном, а фантастические грезы получают характер чего-то реального, преобладание задач, разрешаемых человечеством в течение веков, упускается из виду, склонность к их осуществлению все ослабевает, выдержанный труд признается тягостным – словом, когда общество ввергается в состояние сомнамбулизма, с теми или другими навязчивыми представлениями, внушаемыми ему талантливыми, но больными мыслителями и художниками и поддерживаемыми в нем беззастенчивыми шарлатанами, думающими только о наживе. При таком положении дел и наука, требующая прежде всего ясности мысли и большого напряжения, и свобода, требующая непрерывной борьбы, и даже самая действительность с ее трудными и сложными задачами забываются и вековые идеалы человечества признаются чем-то ложным, скучным, устарелым и заменяются разными побрякушками, мишурой, блуждающими огнями. Большая заслуга Нордау заключается именно в том, что он красноречиво и необычайно убедительно выяснил это печальное положение дел и, указав на болезненное направление общественной мысли, призвал многих из нас к порядку в чувствах и мыслях и напомнил тонким психологическим анализом больной нашей души, как она теперь проявляется в литературе и искусстве, о неотложной необходимости вернуться на путь, нами забываемый, но единственно спасительный.

Мне остается дать еще некоторые объяснения как редактору русского перевода книги Нордау. Прежде всего я должен коснуться центрального понятия всего труда – вырождения.

В общежитии это слово не приобрело еще у нас точного значения и во всяком случае употребляется почти исключительно в смысле уклонения, вследствие наследственных причин, от нормы в физическом отношении. В таком смысле употребляется и слово «выродок», имеющее к тому же в переносном смысле и бранное значение. В науке слову «вырождение» придается более широкий смысл и под ним разумеют вообще уклонение от нормального типа вследствие наследственных причин. Но наш автор еще более обобщает это понятие и употребляет слово «вырождение» весьма часто в смысле уклонения от нормального типа вообще, даже помимо наследственности. Он, например, называет выродившимися субъектами и таких людей, относительно которых трудно доказать, что их уклонение от нормального типа вызывается наследственностью.

Как это обуславливается самим содержанием книги, наш автор имеет в виду, понятно, главным образом психическое, а не физическое вырождение. Внешними признаками этого состояния служат преимущественно легкая возбуждаемость, бессилие и уныние, проявляющиеся в пессимизме, нерасположении ко всякого рода деятельности, склонность к мечтательности и, следовательно, мистицизму, сомнениям, неспособность противиться навязчивым представлениям и влечениям, вытекающая отсюда склонность к преступлениям и проступкам, так называемое нравственное помешательство. Вот главные признаки психического вырождения. Лица, им страдающие, представляют собой настолько бросающийся в глаза особый тип людей, что им и в науке, и в общежитии присваивают и особые названия. Модели называет их «пограничными жителями», т. е. жителями той психической области, где нормальный ум граничит с явным помешательством; Маньян говорит о «выродившихся субъектах высшего порядка»; Ломброзо – о «маттоидах» (по-итальянски *matto* значит сумасшедший); у нас известный психиатр, господин Чечотт, в качестве эксперта по делу Мироновича, Безака и Семеновой, ввел в общее употребление слово «психопат», заимствовав его у немецких ученых, преимущественно у Крафт-Эбинга. С тех пор у нас слово «психопат» приобрело именно то значение, в каком Нордау употребляет слово *entarteter* (выродившийся субъект), и поэтому мы позволим себе заменить в переводе последнее более родственным, а вместе с тем и понятным для нас словом «психопат». Благодаря книге Нордау, мы получаем полную возможность проследить, как психопатические свойства отражаются на литературе и искусстве: в этом и заключается главная заслуга немецкого критика-психиатра.

Признавая за его трудом большое значение, мы относились к нему с должным уважением, строго придерживаясь подлинника, т. е. избегая по возможности всяких сокращений. Немногие нами сделанные сокращения мы считаем своим долгом здесь оговорить. Во-первых, мы сочли возможным выкинуть характеристику некоторых весьма второстепенных немецких последователей Золя, о которых сам автор говорит, что разбор их произведений выходит из рамок его труда и представляет интерес исключительно только для немецких читателей. Эти немецкие последователи Золя совершенно неизвестны у нас и так бездарны, что на них в русском переводе книги Нордау, понятно, нечего останавливаться, но тем не менее мы включили в перевод общие выводы, к которым приходит автор и по отношению к этим писателям. Вторая купюра касается отрицательной оценки деятельности известного литературного критика Брандеса. Оценка эта, занимающая две-три страницы оригинала, вовсе не мотивирована автором, также выходит из рамок его труда и, следовательно, может с пользой быть опущена. Наконец, мы позволили себе еще в главах, касающихся Ибсена и Ницше, выбрать из множества примеров, приведенных автором, самые характерные, руководствуясь указанием самого автора, что этот длинный ряд однородных примеров может утомить читателя и что они приводятся только для полной доказательности.

Вот все изменения против оригинала, которые допущены в русском переводе. Признаюсь откровенно, я нередко чувствовал искушение смягчить некоторые чересчур, по моему мнению, резкие выражения, к которым автор прибегает по живости своего темперамента. Но я почти

нигде не поддался этому искушению, потому что уверен, что читатель сумеет оценить полное беспристрастие автора. Всякие личные соображения ему чужды. Как человек, преданный науке, он руководствуется в своих суждениях исключительно избранным им методом, воодушевляющей его идеей, и потому резкие выражения не могут набросить тень на его беспристрастность. Если он кого-либо осуждает, то исключительно с точки зрения, к которой его приводит избранный им метод исследования, а такая критика, единственно научная и достойная, произведет особенно благоприятное впечатление у нас, где объективная в этом смысле критика почти совершенно отсутствует. Резок, впрочем, бывает Нордау только тогда, когда он видит, какой громадный вред причиняют господствующие теперь в литературе и искусстве психопатические течения вечным идеалам человечества: истине, науке, свободе и настойчивому, выдержанному, осмысленному, трезвому труду, направленному к приближению человека к этим идеалам. Таким духом, возвышенным и плодотворным, проникнута новая книга Макса Нордау, и мы испытываем чувство живейшего удовлетворения, что нам пришлось способствовать ее появлению на русском языке.

Р. Сементковский

Вместо предисловия

Профессору Чезаре Ломброзо

Многоуважаемый и дорогой учитель! Я посвящаю эту книгу вам, чтобы с чувством удовлетворения публично засвидетельствовать факт, что без ваших работ она не могла бы быть написана.

Понятие о вырождении, первоначально научно обоснованное Морелем и гениально разработанное вами, дало, благодаря вашим трудам, богатые плоды в самых разнообразных отраслях знания. Вы пролили поток света на многочисленные вопросы психиатрии, уголовного права, политики и социологии; свет этот не видят только те, кто из упрямства умышленно закрывает глаза или настолько подслеповат, что даже самое яркое освещение ему помочь не может.

Но есть обширная и важная область, в которую ни вы, ни ваши ученики еще не внесли светоча вашего метода: это искусство и литература.

Процесс вырождения распространяется не только на преступников, проституток, анархистов и умалишенных, но и на писателей и художников, и последние представляют в духовном, а по большей части и в физическом отношении характеристические черты, свойственные членам той же антропологической семьи, хотя и удовлетворяют болезненные свои наклонности не ножом или динамитом, а пером или кистью.

Некоторые из представителей вырождения в литературе, музыке и живописи вызывают чрезвычайный шум за последние годы и прославляются многочисленными своими поклонниками как творцы нового искусства, как провозвестники полного обновления в наступающем столетии.

К этому явлению нельзя относиться безучастно. Книги и произведения искусства сильно влияют на массы. Из них данная эпоха черпает свои этические и эстетические идеалы. Когда они безрассудны и противообщественны, они путают и извращают понятия целого поколения. Поэтому необходимо предостеречь его и разъяснить ему истинное значение произведений, вызывающих слепое поклонение, особенно же надо предостерегать молодежь, отличающуюся впечатлительностью и легко увлекающуюся всем необыкновенным и на вид новым. Ходячая критика этой задачи не исполняет. К тому же исключительно литературно-эстетическая подготовка хуже всего содействует уяснению себе патологического характера этого рода произведений. Художественная критика излагает с претензией на остроумие более или менее мило или высокопарно только субъективные впечатления, навеянные этими произведениями; но она не в состоянии уяснить себе вопросов, не являются ли они плодом большого ума и какого рода душевная болезнь в них проявляется.

Поэтому я сделал попытку подвергнуть модные течения в литературе и искусстве анализу, руководствуясь вашим методом, и выяснить, что они вызываются вырождением их виновников и что лица, увлекающиеся ими, в сущности, увлекаются только проявлением более или менее ясно выраженной психопатии, слабоумия или даже сумасшествия.

Таким образом, эта книга является опытом чисто научной критики, оценивающей произведения не на основании вызываемых ими впечатлений, весьма различных, капризных и случайных, смотря по темпераменту и настроению читателя, а на основании психофизиологических элементов, из которых сложились эти произведения. Вместе с тем я этой книгой решаюсь восполнить пробел в созданной вами величественной системе.

Я вполне отдаю себе отчет в последствиях, которые будет иметь мой опыт лично для меня. Ныне можно нападать на церковь, потому что костров уже не существует; можно нападать и на политические власти, ибо в худшем случае вас заключат в тюрьму, и вы будете возна-

граждены ореолом мученичества. Но незавидна участь тех, кто осмеливается называть модные эстетические течения проявлением умственного разложения. Обиженный писатель или художник никогда вам не простит, что вы признали его душевнобольным или шарлатаном. Субъективно настроенная критика не помнит себя от злости, когда ей доказывают, что она судит поверхностно, некомпетентно или малодушно плывет по течению. Даже публика досадует на вас, когда вы ей уясните, что ее мнимые пророки – глупцы, шарлатаны или балаганные петрушки. Но ведь графоманы и их телохранители-критики господствуют почти над всею печатью и пользуются ею, как орудием пытки, чтобы самым варварским образом до конца жизни истязать того, кто расстраивает их игру.

Однако опасность не должна удерживать человека от исполнения своего долга. Тот, кто открыл научную истину, должен сообщить ее человечеству и не сохранять ее втайне. Впрочем, это и немислимо, как не может женщина произвольно задержать плод, созревший в ее утробе.

Я, конечно, не могу соперничать с вами, творцом могучего умственного течения нашего века, но я могу брать пример с вас и идти спокойно моей дорогой, не обращая внимания на неразумие, злобу и умышленные искажения.

Не откажите, многоуважаемый и дорогой учитель, и впредь в вашем расположении глубоко вам преданному

Максу Нордау

I. Конец века (*Fin de siècle*)

«Гибель народов»

Общий характер многочисленных явлений нашего времени, равно как и выражающееся в них основное настроение, принято теперь называть настроением «конца века» (*fin de siècle*).

По опыту уже известно, что обозначение какого-либо понятия в большинстве случаев заимствуется из языка того народа, у которого оно впервые возникло. Философия всегда пользовалась этим законом в применении к истории обычаев и на основании происхождения корней слов доискивалась происхождения самых ранних изобретений и хода развития различных человеческих племен. *Fin de siècle* – французское выражение; французы поняли первые то душевное настроение, которое обозначается этим названием. Словечко облетело обе части света и гостеприимно встречено всеми цивилизованными народами. Это служит доказательством, что в нем чувствовалась потребность. Состояние умов, характеризующееся словами *fin de siècle*, наблюдается вновь повсеместно, но в большинстве случаев это – простое подражание привлекательной чужеземной моде, а не самостоятельное явление; явственнее же всего оно выступает на родине, и изучать его во всех разнообразных проявлениях можно лучше всего в Париже.

Нам нечего доказывать, что само по себе это слово глупо. Только в голове ребенка или какого-нибудь дикаря могло зародиться грубое представление, что столетие составляет подобие живого существа, что оно рождается, как животное или человек, проходит все фазисы земного существования – цветущее детство, веселую молодость, мощную зрелость, постепенно приближается к старости и истощению; наконец, с наступлением последнего десятилетия страдает всеми недугами жалкого старчества и затем умирает. При этом нелепом антропо- или зооморфизме не принимается даже во внимание, что произвольное деление времени различно у культурных народов, что периоду старческого истощения христианского девятнадцатого столетия соответствует младенчество четырнадцатого столетия магометанского мира и полный расцвет пятьдесят седьмого столетия евреев. На земном шаре ежедневно рождается целое поколение в 130 000 человек, и для них жизнь начинается именно в этот день; родится ли новый гражданин вселенной в конце 1900 г., в период смертельной агонии девятнадцатого века, или в 1901 г., в день рождения двадцатого столетия, он от этого не будет ни сильнее, ни слабее. Но у французов уж такой лингвистический обычай: они сожалеют других, когда сами заслуживают сожаления. Вы то и дело услышите во Франции такие речи: «Мой бедный друг, знаете ли, что случилось? Я совершенно разорился...» Этот странный способ выражения объясняется тем, что то, что его касается, интересует всех и что постигающее его несчастье представляется всему миру по меньшей мере столь же важным событием, как ему самому. Этим наивно-эгоистическим способом выражения объясняется и то, что французы собственное свое старчество переносят на все столетие и говорят о *fin de siècle*, когда вернее было бы говорить о *fin de race*¹.

Но как ни глупо выражение *fin de siècle*, умственное настроение, которое им характеризуется, действительно существует в руководящих общественных группах. Это настроение чрезвычайно смутное; в нем есть лихорадочная неутомимость и тупое уныние, безотчетный

¹ Конец рода, расы (*фр.*). Этот отрывок был неправильно понят. Его восприняли в том смысле, что вся французская нация выродилась и приближается к своему концу. Однако из заключительного параграфа этой главы ясно видно, что я имел в виду десять тысяч представителей высшего класса. Крестьянское население, а также часть рабочего класса и буржуазии – здоровы. Я утверждаю, что произошел упадок среди богатых жителей больших городов и высших классов. Именно они породили *fin de siècle*, и также именно к ним относится *fin de race*. – *Здесь и далее примечания автора, если не указано иное.*

страх и юмор приговоренного к смерти. Преобладающая его черта – чувство гибели, вымирания. *Fin de siècle* – исповедь и в то же время жалоба. В скандинавской мифологии сохранилось страшное сказание о «гибели богов». В наше время даже развитые умы испытывают то же неопределенное опасение надвигающихся сумерек, постепенного исчезновения небесных светил и «гибели народов» со всей их цивилизацией.

Не в первый раз уже в истории наблюдается распространение подобного смутного страха. С приближением 1000 года это чувство овладело всеми христианскими народами. Но оно существенно отличалось от ощущений *fin de siècle*. В исходе первого тысячелетия христианской эры страх порождался чувством полноты жизни, привязанностью к ней. Кровь кипела, люди чувствовали себя способными наслаждаться, и мысль о возможности погибнуть вместе со всей вселенной казалась ужасной, невыносимой: ведь было столько вина, столько красивых женщин, столько сил наслаждаться!

В настроении *fin de siècle* ничего подобного нет. Оно не имеет ничего общего с меланхолией Фауста, когда он на склоне лет вспоминает всю свою жизнь, гордится достигнутым, но в то же время, видя, что многое еще только начато, еще не совершено, испытывает страстное стремление довершить неоконченное и даже ночью не находит себе покоя и вскакивает с возгласом: «Спешу исполнить, что задумал». Совершенно иным представляется настроение *fin de siècle*. Это бессильное отчаяние человека хилого, который чувствует, что он постепенно приближается к смерти среди цветущей, животворящей природы, зависть богатого старого развратника, который видит влюбленную парочку, удаляющуюся в уединенный уголок молчаливого леса, стыд истощенного слабосильного, который, как во время чумы во Флоренции, укрывается в волшебном саду, чтобы пережить еще похождение в духе Декамерона, и тщетно мучит себя, чтобы в виду предстоящей опасности еще раз насладиться опьянением чувств. Тот, кто читал «Дворянское гнездо» Тургенева, помнит, конечно, конец этого прекрасного произведения. Герой его Лаврецкий посещает дом, в котором разыгрался роман его жизни. Все осталось неизменным: в саду по-прежнему благоухают цветы, на лужайке весело резвится молодежь, только Лаврецкий состарился, и смотрит он в глубокой печали на картину природы, которая радостно возрождается и которой мало горя до того, что любимая им девушка исчезла и что он сам превратился в утомленного, разбитого жизнью человека. Сознание Лаврецкого, что среди этой вечно юной и цветущей природы ему одному нет места, предсмертный крик Алвинга «солнца, солнца» в «Привидениях» Ибсена, – вот истинное настроение «конца века».

В этом модном словечке есть неизбежная неопределенность, как нельзя лучше характеризующая все полусознательное и неясное в нынешнем настроении умов. Подобно тому как слова «свобода», «прогресс», по-видимому, выражают определенное понятие, но в сущности весьма эластичны, так и выражение *fin de siècle* само по себе ничего не значит, но приобретает смысл, соответствующий образу мыслей лиц, его употребляющих.

Чтоб уяснить себе, что, собственно, понимают под этим выражением, лучше всего взять ряд примеров из французских книг и газет за последние годы.

Монарх отрекается от престола и, покинув свою страну, избирает своим местопребыванием Париж. Некоторые из своих политических прав он, однако, сохраняет за собою. Однажды он проигрывает большой куш денег, и положение его становится весьма затруднительным. Тогда он заключает с правительством своей страны договор, в силу которого он за миллион франков раз навсегда отказывается от своего титула, официального положения и своих прав. Это король «конца века».

Епископ подвергается судебному преследованию за оскорбление министра народного просвещения. После прений на суде его каноники, по его распоряжению, раздают газетным репортерам отписки его защитительной речи. Приговоренный к денежному штрафу, епископ устраивает публичное собрание, на котором он собирает в свою пользу сумму, в десять раз превышающую наложенный на него штраф. Затем он издает целый том полученных им сочув-

ственных писем, совершает путешествие по стране, появляется во всех соборах, куда стекаются толпы народа, чтоб поглазеть на знаменитость дня, и при случае получает еще кошелек с деньгами.

Труп убийцы Пранцини подвергается после казни анатомическому вскрытию. Начальник тайной полиции срезает большой кусок кожи и заказывает из нее для себя и своих друзей портсигары и бумажники для визитных карточек. Это должностное лицо «конца века».

Американец венчается со своей невестой на газовом заводе и вслед за тем немедленно отправляется на воздушном шаре совершить свадебное путешествие в облаках. Это свадьба во вкусе «конца века».

Атташе при китайском посольстве издает весьма остроумные сочинения на французском языке, подписанные его именем, в то же время ведет с банкирскими домами переговоры о государственном займе и получает большие суммы в счет подписки. Впоследствии, однако, оказывается, что книги, изданные им, принадлежат перу его секретаря, француза, и что банки он надул. Это дипломат «конца века».

Гимназист проходит со своим товарищем мимо тюрьмы, в которой его отец, богатый банкир, неоднократно сидел за злостное банкротство, подлоги и другие доходные преступления того же рода. Он указывает своему другу здание и, улыбаясь, говорит: «Посмотри, вот гимназия моего папаши». Это сын «конца века».

Две приятельницы по пансиону, барышни из хороших семейств, ведут между собою беседу. Одна из них вздыхает.

– Что с тобой? – спрашивает другая.

– Я люблю Рауля, и он меня любит.

– Да ведь это прелестно. Он такой красавец, молод, изящен, а ты этим огорчаешься?

– Все это так, но он беден, и у меня ничего нет, а мои родители хотят выдать меня замуж за барона, плешивого, отвратительного толстяка, но ужасно богатого.

– Так что же? Выходи себе спокойно за барона и познакомь с ним Рауля. Ах ты, глупенькая!

Это тип барышни «конца века».

Из этих примеров видно, какой смысл придают выражению *fin de siècle* в стране, где оно народилось. Немецкие подражатели парижских мод, придающие этому выражению почти исключительно значение непристойное и скабрёзное, в своем грубом невежестве сильно им злоупотребляют. Так, они и несколькими десятилетиями раньше обозначали словом *demi-monde*² исключительно мир кокоток, в то время как Дюма, введший это слово в употребление, хотел им охарактеризовать людей, имеющих в своей жизни темное пятно и поэтому исключенных из кружка, к которому они принадлежат по рождению, воспитанию или карьере, но строго избегающих выдать, по крайней мере перед непосвященными, что они им отвергнуты.

На первый взгляд между королем, продающим свои владетельные права за значительную сумму, и новобрачной парочкой, совершающей свадебное путешествие на воздушном шаре, очень мало общего, как между епископом-шарлатаном и благовоспитанной барышней, дающей своей приятельнице совет, как приятнее устроиться в супружеской жизни. А между тем во всех этих случаях замечается общая черта, именно презрение к установившимся понятиям о приличии и нравственности.

Итак, основной смысл слов *fin de siècle* заключается в отречении на практике от традиционной порядочности, которая в теории еще вполне признается. В распутном человеке оно выражается разнузданностью инстинктов; в черством эгоисте – полным пренебрежением к ближнему и к его интересам, разрушением всех преград, которые сдерживают грубое корыстолюбие и жажду наслаждений; в скептике – беззастенчивым проявлением низменных стремле-

² Полусвет (*фр.*). Термин происходит из пьесы Александра Дюма-сына *Le Demi-Monde*, опубликованной в 1855 году.

ний и побудительных мотивов, которые до сих пор если не подавлялись, то лицемерно скрывались; в верующем – ослаблением веры, полным материализмом; в эстетике – отрицанием идеала в искусстве и бессилием производить впечатление старыми формами; во всех же людях вообще – несочувствием к прежним порядкам, удовлетворявшим в течение целых тысячелетий требованиям логики, сдерживавшим преступные порывы и содействовавшим появлению прекрасных художественных произведений.

Целый период истории, видимо, приходит к концу и начинается новый. Все традиции подорваны, и между вчерашним и завтрашним днем не видно связующего звена. Существующие порядки поколеблены и рушатся; все смотрят на это безучастно, потому что они надоели, и никто не верит, чтоб их стоило поддерживать. Господствовавшие до сих пор воззрения исчезли или изгнаны, как свергнутые с престола короли, и их наследства добиваются законные и незаконные наследники. Тем временем наступило полное междуцарствие со всеми его ужасами: смущением властей, беспомощностью лишившихся своих вождей масс, произволом сильных, появлением лжепророков, рождением временных, но тем более деспотических властелинов. Все ждут не дождутся новой эры, не имея ни малейшего понятия, откуда она придет и какова будет. При хаосе, господствующем в умах, от искусства ожидают указаний относительно порядка, который заменит собою общую сумятицу. Поэт, музыкант должен возвестить, угадать или по крайней мере предчувствовать, в какой форме выразится дальнейший прогресс. Что будет завтра признаваться нравственным или прекрасным, что мы будем знать, во что верить, чем воодушевляться, чем наслаждаться? – таков вопрос, раздающийся из стоустой толпы, и там, где какой-нибудь шарлатан возвещает, что у него имеется наготове ответ, дурак или авантюрист начинает пророчить в стихах или прозе, звуками или красками, или оригинальничает, отвергая своих предшественников или соперников, толпа так и льнет к нему, прислушивается к каждому его слову, как к оракулу, и, чем темнее смысл его речей, чем бессодержательнее они, тем лихорадочнее внимает им бедная толпа глупцов, жаждущих откровения, тем значительнее представляются они ей и с тем большею страстностью подвергаются бесконечным толкованиям.

Таково зрелище, освещаемое красноватым отблеском вечернего заката. Сгустившиеся облака горят красиво, но зловеще в таком зареве, какое еще долгие годы наблюдалось на небе после извержения Кракатау. На землю спускаются черные тени, которые скрывают в таинственном мраке проявления жизни, лишают все предметы их определенности, дают простор разным предчувствиям. Очертания теряются, все сливается в тумане. Миновал день, наступила ночь. Старики встречают ее со страхом, опасаясь, что не переживут ее. Только немногие молодые и сильные люди живут всеми нервами и фибрами своего существа и радуются предстоящему восходу солнца. Сны, наполняющие эти часы мрака до зари нового дня, у первых – печальные воспоминания, у вторых – высокомерные надежды, и формы, в которых они конкретно выражаются, и составляют художественное творчество нашего времени.

Здесь мы, однако, должны оговориться во избежание всяких недоразумений. Громадное большинство людей и низших классов, конечно, не подходит под наше определение *fin de siècle*. Тем не менее настроение времени проникает в самые глубокие слои и вызывает даже в самых темных и неразвитых людях странное чувство беспокойства, своего рода морскую болезнь, которая, однако, не доходит у них до своеобразных причудей, свойственных беременным женщинам, и не выражается в новых эстетических потребностях. Буржуа или пролетарий, если он не чувствует на себе презрительного взгляда человека *fin de siècle* и имеет возможность непринужденно предаваться своим собственным склонностям, все еще наслаждается старыми формами искусства и поэзии. Он предпочитает романы Онэ всем символистам, и «Сельскую честь» Масканы всем вагнеристам и самому Вагнеру; он от души забавляется водевилями с глупыми шутками и зевает, слушая пьесы Ибсена; он с удовольствием смотрит на грубые олеографии и равнодушно проходит мимо картин современных модных художников. Лишь самое

ничтожное меньшинство находит искреннее удовольствие в новых направлениях и убежденно провозглашает, что в них и спасение, и надежда, и будущность. Но это меньшинство наполняет собою всю видимую поверхность общества, подобно тому как ничтожное количество масла широко распространяется на поверхности моря. Оно состоит из богатых и известных людей или из фанатиков; первые дают тон всем глупцам и пустомелям, вторые влияют на слабых и несамостоятельных людей и запугивают робких. Толпа делает вид, что ее вкусы совпадают со вкусами сторонящегося от нее меньшинства, которое с видом величайшего презрения проходит мимо всего, что до сих пор считалось прекрасным, и таким образом, на первый взгляд, может показаться, что все образованное человечество усвоило себе эстетические вкусы людей *fin de siècle*.

Симптомы болезни

Посетим модные места больших европейских городов, общественные гулянья курортов, вечерние собрания богатых людей и смешаемся с толпой. Что же мы увидим?

У одной из дам волосы гладко зачесаны назад, как у Рафаэлевой Маддалены Дони в Палаццо Уффици, у другой волосы высоко возвышаются над лбом, как у Юлии, дочери Тита, или у Плотины, супруги Траяна, бюсты которых мы видим в Лувре, у третьей они коротко подстрижены спереди, а на висках и на затылке свободно рассыпаются длинными завитыми прядями по моде пятнадцатого столетия, как у пажей и молодых рыцарей на картинах Джентиле Беллини, Боттичелли и Мантеньи. У многих волосы выкрашены и притом в такой цвет, чтоб он противоречил законам органического согласования и производил впечатление диссонанса, разрешающегося в высшей полифонии всего туалета. Вот эта черноглазая, смуглолицая женщина как бы потешается над природой, заключая свое лицо в рамку медно-красноватых или золотисто-желтых волос, между тем как та голубоглазая красавица с прелестным ослепительно-белым цветом лица и ярким румянцем поражает их контраст с черными, как смоль, локонами. На одной – громадная, тяжелая войлочная шляпа с отогнутым сзади полем, гарнированная крупными плюшевыми шариками и, очевидно, сделанная по образцу сомбреро испанских тореадоров, приехавших в Париж во время Всемирной выставки 1889 г. и послуживших модисткам моделью; на другой – изумрудного или рубинового цвета бархатный берет, как у средневековых студентов. Костюмы не менее вычурны. Тут вы видите коротенькую накидку, доходящую до пояса, с разрезом на боку, задрапированную спереди наподобие портьеры и обшитую по краям шелковым аграмантом с подвесками, которые вечно болтаются и приводят нервного человека в гипнотическое состояние или внушают ему желание обратиться в бегство; там – греческий пеплон, название которого модистке так же хорошо известно, как любому знатоку классической древности; наряду с длинным, чопорным платьем во вкусе Екатерины Медичи и высоким щитовидным воротником Марии Стюарт – легкие белые платья, напоминающие одеяние ангелов на картинах Мемлинга; или карикатурное подражание мужскому костюму: плотно облегающие стан сюртуки, жилеты с широкими разрезами на груди, накрахмаленные манишки, маленькие стоячие воротнички и узенькие галстуки. Большинство же женских фигур, не желая выделяться из толпы и не претендуя на оригинальность, напоминает собою вымученный стиль рококо с его перепутанными кривыми линиями, с непонятными выпуклостями, наростами, украшениями и впадинами, с беспорядочно разбросанными складками, причем все очертания человеческой фигуры исчезают, и женщина становится похожа то на какого-то апокалипсического зверя, то на кресло, то на триптих или на какую-нибудь другую принадлежность роскошной гостиной.

Дети раздетых таким образом матерей являются настоящим воплощением созданий больного воображения жалкой старой девы, невыносимой англичанки Кет Гринвей, которой, вследствие ее безбрачия, не суждено было изведать материнских радостей и у которой подавленная потребность природы выразилась в извращенном вкусе и стремлении изображать детей в смешных костюмах, просто оскорбляющих детскую невинность. Вот маленький карапузик, одетый с головы до ног в красное, как в Средние века одевались палачи; вот четырехлетняя девочка в огромной шляпе, какие носили наши прабабушки, и в мантии из яркого бархата; вот еще крошечное существо, едва умеющее ходить, в длинном платьице со сборчатыми рукавами и коротким лифчиком с пояском чуть ли не под самыми мышками – подражание моде империи.

Мужчины пополняют картину. Правда, они настолько еще обладают здравым смыслом или опасаются насмешек, что в своих костюмах чуждаются кричащих странностей, например красных фраков с металлическими пуговицами и коротких брюк с шелковыми чулками, на которые находятся немногие охотники, идиоты с моноклями в глазу, очевидно, завидующие

артистам театра обезьян. В общем, они не уклоняются от преобладающего мужского костюма. Зато они дают полную волю своей фантазии в прическе. Один украшает себя короткими завитками и разделенною на два клина волнистою бородою Луция Вера, другой стрижет только середину головы, оставляя по сторонам вихры, и носит тонкие, торчащие, как у кошки, усы японского какемона; соседа же его украшает бородка а-ля Генрих IV; далее вы видите взъерошенные, щетинистые усы ландскнехтов Ф. Брюна или энергическую бородку стрелков на «Ночном дозоре» Рембрандта и т. д.

У всех этих людей есть одна общая характеристическая черта – они не хотят быть самими собою, не довольствуются тем, что дала им природа, восполняя ее дозволенными средствами соответственно истинному их типу, а стараются воплотить в себе какой-нибудь образец искусства, не имеющий ничего общего с их собственным обликом или часто совершенно противоположный ему; они даже стараются воплотить в себе не один образец, а несколько зараз, хотя эти образцы противоречат друг другу; таким образом, вы видите головы, посаженные на чуждые им торсы, фантастические костюмы с противоречивыми деталями, сочетания цветов, подобранных как бы в темноте. Получается такое впечатление, словно вы попали на маскарад, где все загримированы. Бывают дни, как, например, во время открытия парижского салона на Марсовом поле, художественной выставки лондонской Королевской академии, когда это впечатление усиливается до того, что вам кажется, будто бы вы ходите среди мертвецов, составленных в какой-то сказочной мертвецкой на скорую руку из разрозненных частей разных трупов, причем взяты первые попавшиеся голова, руки, ноги и все это облечено также в первые попавшиеся костюмы разных эпох и стран. Каждая отдельная фигура, видимо, старается поразить и приковать к себе внимание какою-нибудь особенностью в манере держать себя, в покрое платья, в цвете. Ей хочется подействовать на нервы в благоприятном или неблагоприятном смысле. У нее своего рода мания резко выделяться из толпы.

Последуем за этими масками в их дома. Тут вы видите какие-то театральные декорации, скорее склады, магазины, музей, чем жилые помещения. Кабинет хозяина – рыцарская зала в готическом вкусе с латами, щитами, крестообразными знаменами по стенам или лавка восточных товаров с курдскими коврами, бедуинскими ларчиками, черкесскими кальянами и индийскими лакированными ящичками. Возле каминного зеркала японские маски корчат дикие или смехотворные гримасы. Между окнами красуются мечи, кинжалы, палицы и старинные пистолеты. Свет проникает сквозь оконную живопись, на которой изображены исхудалые святые в пламенной молитве. В обгостиной стены обиты ветхими гобеленами, выцветшими от действия солнца в течение двух веков – а может быть, и от действия химических веществ, – или оклеены обоями, на которых изображены чужеземные птицы, порхающие в причудливо переплетающихся ветвях, и огромные цветы, с которыми кокетничают яркие бабочки. Между мягкими креслами и табуретами, удовлетворяющими изнеженному вкусу нашего времени, разбросаны деревянные стулья в стиле ренессанса с раковинами или сердцами вместо сидений, которыми мог бы соблазниться разве какой-нибудь закаленный средневековый рыцарь. Между шкапиками буль вас вдруг поражает позолоченный и разрисованный паланкин и возле дамской конторки с инкрустациями привлекательного стиля рококо причудливый китайский столик. На всех столиках и во всех шкафчиках расставлены старинные вещицы или произведения искусства, по большей части заведомо поддельные: возле лиможского блюда персидский медный кувшин с длинным горлышком, между молитвенником в переплете из резной слоновой кости и щипцами из чеканной меди бонбоньерка. На мольбертах, задрапированных бархатом, стоят картины в рамках, приковывающие к себе внимание какою-нибудь особенностью: пауком, сидящим в паутине, букетом репейника из металла и т. п. В одном углу устроено нечто вроде храма сидящему на корточках или стоящему Будде. Будуар хозяйки напоминает собой отчасти часовню, отчасти гарем. Туалетный столик походит по своей форме и убранству на алтарь, скамеечка для коленопреклонения указывает на набожность хозяйки; но широкая отто-

манка с беспорядочно разбросанными на ней подушками смягчает это впечатление. В столовой стены увешаны бесконечной коллекцией фарфоровых изделий; в старинном буфете в деревенском вкусе выставлено напоказ дорогое серебро, а на столе цветут высокоаристократические орхидеи и гордо высятся серебряные столовые украшения среди деревенских каменных тарелок и кувшинов. Вечером комнаты освещаются лампами в человеческий рост. Свет смягчается красными, желтыми или зелеными абажурами, часто обшитыми еще черными кружевами и имеющими самую причудливую форму, так что люди движутся как бы в пестром, прозрачном тумане, а углы остаются в искусственном, таинственном полумраке. Вся мебель и безделушки приобретают, таким образом, своеобразную окраску, а люди сидят в изученных позах, чтобы вызвать на своих лицах световые эффекты Рембрандта или Схалкена. Все в этих домах рассчитано на то, чтоб действовать возбуждающим и отуманивающим образом на нервы. Несоответствие и противоречивость в деталях, причудливая странность всех предметов должны поражать. Чувства удовлетворения, которое человек ощущает при виде знакомой обстановки, все детали которой ему понятны, он здесь не найдет. Все должно на него действовать возбуждающим образом. Если хозяин дома является в этих апартаментах по примеру Бальзака в белой монашеской рясе или по образцу Ришпена в красном плаще опереточного атамана разбойников, то этим он только признает, что на подобной сцене нужен арлекин. Все здесь разнородно, все разбросано без всякой симметрии; определенный, исторический стиль считается устаревшим, вульгарным, а своего собственного стиля наше время еще не выработало. Быть может, единственный намек на него дает мебель Карабина, выставленная в салоне на Марсовом поле. Но эти перила, вдоль которых бешено мчатся вниз нагие фурии и оглашенные, эти книжные шкапы, основанием которым служат головы казненных преступников, даже этот стол, изображающий открытую и поддерживаемую гномами исполинскую книгу, могут нравиться разве только людям, одержимым бредом и галлюцинациями. Если главноуправляющий дантовского ада имеет приемную, то она, наверное, снабжена подобною мебелью. Произведения Карабина не могут считаться домашнею мебелью, это – кошмар.

Мы видели, как бонтонное общество живет и одевается. Посмотрим теперь, как и чем оно развлекается и забавляется. На художественной выставке его окружают и вызывают в нем умеряемые приличием возгласы удивления женщины Бенара с зелеными, как морская трава, волосами, с желтыми, как сера, или красными, как пылающее пламя, лицами, с фиолетовыми или розовыми руками, облаченные в светящиеся голубые облака, которые должны изображать нечто вроде капотов. Следовательно, общество любит упиваться яркими красками? Да, но не исключительно, ибо, насладившись Бенаром, оно приходит в экстаз от бледных, словно покрытых полупрозрачным слоем извести картин Пюви де Шаванна, от окутанных загадочно дымкою, словно волнами ладана, полотен Карьера, от дрожащих в мягком лунном сиянии картин Ролля. Ученики Мане, погружающие все видимое мироздание в сказочный фиолетовый цвет, архаисты, воскрешающие выветрившиеся полутоны или, точнее говоря, цветовые привидения давно забытого мира, палитра «мертвого листа», «старой слоновой кости», тускло-желтого цвета, поблекшего пурпура, в общем привлекают больше мечтательных взоров, чем пестрые композиции Бенара. Эта избранная публика, по-видимому, мало интересуется сюжетом картин; только швеи и деревенские жители, невзыскательные любители олеографий наслаждаются бытовыми сценками. Но тем не менее избранная публика, посещая выставки, особенно охотно останавливается перед картиною Мартена «У всякого своя химера» (*A chacun sa chimère*, с. 1900), на которой разбухшие фигуры совершают нечто непонятное в желтом соусе, что именно, это мы узнаем из глубокомысленного объяснения программы; затем перед картиною Бери «Христос и грешница», где в парижской кухмистерской среди общества во фраках, перед дамою в бальном костюме настоящий Христос в восточном одеянии и с сиянием на голове разыгрывает сцену из Евангелия, или перед пропойцами и головорезами парижских предместий, изображаемых Рафаэлли весьма отчетливо разведенною глиною и уличною гря-

зью. Наблюдатель избранного общества, посещающего художественные выставки, заметит, что эта публика закатывает глаза и складывает набожно руки перед такими картинами, перед которыми простой смертный раздражается смехом или выражает досаду обманутого человека, и что она пожимает плечами или обменивается презрительными взглядами там, где другие благодарят художника и наслаждаются.

В операх и на концертах законченные формы прежних композиторов уже не нравятся. Ясная работа классиков, добросовестное соблюдение законов контрапункта представляются скучными. Мелодически ослабевающая и звучно разрешающаяся кода, гармоничная фермата вызывает зевоту.

Шумными рукоплесканиями и венками награждаются вагнеровские «Тристан и Изольда» и в особенности мистический «Парсифаль», церковная музыка «Мечты» Брюно, симфонии Сезара Франка. Чтоб производить впечатление, музыка должна подделываться под религиозное настроение или поражать своею формой. Подготовленный слушатель обыкновенно совершенно произвольно продолжает развивать мотив данного произведения. Он, следовательно, предугадывает, и задача композитора заключается в том, чтобы придать мотиву совершенно неожиданное развитие. Где слушатель ожидает благозвучного интервала, его должен поразить диссонанс; музыкальная фраза, естественно заканчивающаяся ясным аккордом, должна внезапно оборваться, переход в различные тона и регистры должен противоречить естественным законам гармонии. В оркестре внимание слушателя рассеивается в различных направлениях одновременным ведением нескольких голосов; отдельные инструменты или группы инструментов, мешая друг другу, оглушают слушателя, пока он не приходит в нервное возбуждение человека, тщетно усиливающегося разобраться в потоке слов десятка людей, говорящих одновременно. Основной мотив, сперва ясный и определенный, все более затемняется, разжижается и разводняется, пока, наконец, воображению дается полный простор угадывать в нем все, что угодно, подобна тому как глаз различает в несущихся по небу ночью облаках различные формы. Поток звуков, то вздымаясь, то опускаясь в бесконечных хроматических триолях, течет в беспредельную даль, и разве только иногда жадно высматривающему желанную пристань слушателю представляется отдаленный берег, который, впрочем, очень скоро оказывается исчезающим маревом. Музыка должна вечно обещать, но не сдерживать слова; она должна принимать вид, будто сообщает великую тайну, но умолкнуть или удариться в сторону, прежде чем произнесет трепетно ожидаемую разгадку. Слушатель должен покинуть залу, испытав муки Тантала и нервно обессиленный, как любовник, напрасно пытавшийся в течение многих часов во время ночного свидания поговорить с возлюбленной, находившейся за крепкой решеткой.

Книги, которыми наслаждается избранная публика, издают странное благоухание, в котором можно различать запах ладана, eau de Lubin³ и нечистот с преобладанием того или другого. Но с одним запахом нечистот теперь уже дел не делают. Зловонная поэзия Золя и его учеников находит себе читателей только среди отсталых народов или общественных классов. Избранное же общество затыкает нос перед помойной ямой несмягченного натурализма и склоняется над нею с участием и любопытством только в том случае, если к нему искусно примешан запах ладана и будуарных духов. Простая чувственность опошлела и допускается только тогда, когда она носит признаки противоестественности и вырождения. Книги, в которых просто тракуются отношения между мужчиной и женщиной, хотя бы ничем не прикрытые, кажутся слишком обыкновенными и нравственными. Интересной книга становится там, где естественные половые отношения кончаются. Приап стал эмблемой добродетели. Порок ищет себе пищи в Содоме и Лесбосе, в замке Синей Бороды, в людской, где у «божественного» маркиза де Сада царствует Жюстина. Модная книга должна быть прежде всего темна. Понят-

³ Парфюм от Любен (*фр.*).

ное обыденно и годится только для черни. Модная же книга должна отличаться несколько елейным, но ненавязчивым проповедническим тоном, и в ней скабрзные сцены должны сменяться плачем над страдающими и обездоленными или взрывами страстной набожности. Очень в ходу история с привидениями – но непременно в научном облачении гипнотизма, телепатии, сомнамбулизма, – театр марионеток, в котором тертые калачи, придавая себе вид наивности, влагают в уста самых избитых героев речи малых ребят или людей помешанных, и эзотерические романы, в которых автор дает чувствовать, что он мог бы, если бы только хотел, сказать многое из области каббалы, факиризма, астрологии, белой и черной магии. Люди опьяняют себя туманным извержением слов символистов. Ибсен свергает Гёте с престола, Метерлинк сравнивается с Шекспиром, немецкие и даже французские критики признают Ницше первым писателем нашего времени, «Крейцера соната» превращается в библию эротически настроенных дам, потерявших счет любовникам, утонченные джентльмены признают уличные песенки Жуи, Брюана, Мак-Наба и Ксанрофа *très distingué*⁴ по причине «бьющего в них теплого сострадания», и светские люди, серьезно верящие только в биржу и игорный дом, совершают паломничество в Обераммергау для лицезрения христианских мистерий или плачут над стихами Верлена с его призывами к милосердию Пресвятой Девы.

Однако как ни эксцентричны художественные выставки, концерты, театры и книги, они не удовлетворяют эстетическим потребностям утонченного общества. Оно ищет не изведанных еще ощущений. Оно жаждет сильных впечатлений и рассчитывает найти их в зрелищах, где различного рода искусства в новых сочетаниях действуют одновременно на все чувства. Поэты, художники силятся подделаться под это настроение. Один живописец, не столько озабоченный тем, чтобы вызвать новый эффект, сколько тем, чтобы устроить себе рекламу, выставляет умирающего Моцарта, сочиняющего свой «Реквием», вечером, в полутемной зале, при искусно направленном электрическом свете и при звуках невидимого оркестра, тихо наигрывающего это бессмертное произведение. Один музыкант пошел еще дальше. Развив до последней степени вагнеровскую мысль, он устроил концерт в совершенно темной зале, доставив этим выбравшим себе приятное соседство слушателям возможность усилить музыкальное впечатление иными ощущениями. Поэт Гарокур написал для сцены в высокопарных стихах перифразу Евангелия, и в то время как Сара Бернар декламирует их, в театре раздается под сурдинку, как в старинных мелодрамах, какая-то бесконечная мелодия. Даже обонянием, которым до сих пор пренебрегало искусство, пользуются в настоящее время и привлекают его к участию в доставлении эстетических наслаждений. В театре устраивается приспособление, при помощи которого брызги духов наполняют всю зрительную залу. На сцене в это время дается драматическое представление в стихах, соответствующее представлению в этом аромате. Каждая сцена, каждое явление, каждый выход характеризуется преобладанием особой гласной, особенным цветным освещением, особенной музыкальной пьесой, написанной в ином тоне, и особенными духами. Эта мысль воспользоваться ароматом духов для усиления впечатления, производимого поэзией, высказана шутя уже давно Экштейном. В Париже она была встречена и применена совершенно серьезно. Новаторы воскрешают детский театр и дают на нем представления для взрослых, силясь внушить, будто бы под искусственной простотой скрывается глубокий смысл; они показывают такие китайские тени, которые они усовершенствовали с замечательным мастерством: очень мило нарисованные и раскрашенные фигуры движутся на заднем плане, ослепительно освещенном, и эти живые картины наглядно воспроизводят то, что говорится в стихотворении, которое тут же читается, между тем как фортепьянная музыка усиливает впечатление. И для того чтоб насладиться такого рода представлениями, публика теснится в цирке какого-нибудь предместья, в каком-нибудь сарае на заднем дворе, в лавчонке

⁴ Крайне выдающимися (*фр.*).

художественных произведений или в фантастическом кабачке художников, где во время представлений рядом с грязными завсегдатаями заседают эфирные маркизы.

Диагноз болезни

Явления, описанные в предыдущей главе, бросаются в глаза даже самому ограниченному буржуа. Однако последний видит в них моду и довольствуется тем, что называет их причудами, эксцентричностью, погоней за новизной, страстью к обезьянничанью. Эстетик, который вследствие своего одностороннего образования не в силах установить связи между различными явлениями и уловить их значение, обманывает самого себя и других пустыми фразами и высокомерно говорит о «тревожном искании нового идеала», о «богатой восприимчивости утонченной нервной системы современников», о «небывалой восприимчивости избранных людей». Но врач, специально посвятивший себя изучению нервных и душевных болезней, тотчас узнает в настроении *fin de siècle*, в направлениях современного искусства и поэзии, в настроении мистиков, символистов, декадентов и в образе действий их поклонников, в склонностях и вкусах модного общества общую картину двух определенных патологических состояний, с которыми он отлично знаком: вырождения и истерии, легкая форма которой известна под именем неврастения. Это два совершенно различных состояния, но между ними есть много общего, и они часто проявляются одновременно, так что гораздо легче наблюдать их в связи, чем каждое в отдельности.

Понятие о вырождении, ныне господствующее в психиатрии, впервые точно анализировано и объяснено Морелем. Этот замечательный психиатр объясняет следующим образом то, что, по его мнению, надо понимать под словом «вырождение»: «Под вырождением следует разуметь патологическое отклонение от первоначального типа. Вырождение, хотя бы оно было вначале весьма несложно, включает в себе такие наследственные элементы, что человек, пораженный им, становится все более неспособным исполнять свое назначение и что умственный прогресс, заторможенный уже в его личности, подвергается опасности и в лице его потомства».

Когда разного рода вредные влияния ослабили организм, то произведенное им потомство представляет отклонение от здорового, нормального и способного к полному развитию типа и создает новый тип, который, как и всякий другой, обладает способностью наследственно передавать свои особенности, т. е. в данном случае патологические отклонения от нормы (уродливости и недуги) собственным потомкам в усиливающейся прогрессии. Вырождение отличается от нормального образования новых видов тем, что новый болезненный патологический вид, к счастью, не сохраняется долго и после нескольких поколений вымирает, часто не опустившись до низшей ступени органического уничтожения.

Вырождение проявляется у человека известными физическими признаками, которые называются стигматом или клеймом, выражение весьма неудачное, ибо оно заставляет предполагать, будто бы вырождение неизбежно является последствием вины, а его признаки – наказанием. Между тем эти стигматы составляют не что иное, как последствие ненормального развития, и выражаются, прежде всего, в асимметрии, т. е. неодинаковом развитии обеих половин лица и черепа, в несовершенствах ушной раковины, поражающей несообразной величиной или оттопыренной, словно ручки у горшка, с недостающей или приросшей мочкой, с незагнутыми краями, далее в косоглазии, заячьей губе, неправильностях строения зубов и неба, плоского или образующего острый угол, в сросшихся или излишних пальцах и т. д. Уже Морель дал нам перечень анатомических признаков вырождения, а впоследствии список этот был значительно пополнен другими исследователями. В особенности Ломброзо указывает на многочисленные симптомы, которыми он, однако, наделяет только «прирожденных преступников». С научной точки зрения самого Ломброзо такое ограничение совершенно несостоятельно, потому что «прирожденные преступники» представляют собою не что иное, как один из видов вырождения. Фере выражается вполне определенно по этому поводу. «Пороки, преступления и сума-

существование, – говорит он, – разграничиваются только вследствие господствующего в обществе предрассудка».

Существует верное средство уяснить себе, действительно ли виновники всех этих проявлений *fin de siècle* в искусстве и литературе – выродившиеся субъекты (психопаты): стоит только подвергнуть их тщательному медицинскому исследованию и проследить их родословную. У всех, наверное, найдутся выродившиеся родственники и один или несколько симптомов, подтверждающих диагноз об их «вырождении». Правда и то, что результат подобного исследования нельзя было бы опубликовать по соображениям человечности, и он убедил бы, следовательно, только тех, кто его производил. Однако наука установила наряду с физическими и психические симптомы вырождения, не менее явственно указывающие на него. Они до такой степени отчетливо проявляются в жизни и главным образом в произведениях выродившихся субъектов, что бесполезно даже прибегать к измерению черепа какого-нибудь писателя или к исследованию ушной раковины живописца, чтоб доказать их принадлежность к этому классу людей.

Для его обозначения установлен целый ряд разных названий. Модсли и Болл называют их «пограничными жителями», т. е. обитателями той области, где здравый ум граничит с признанным помешательством. Маньян называет их выродками высшего порядка (*dégénérés supérieurs*), а Ломброзо говорит о «маттоидах» (от итальянского слова *matto*, сумасшедший) и «графоманах», под которыми он разумеет полусумасшедших, имеющих склонность к писательству. Несмотря, однако, на все эти многочисленные названия, речь идет об одной категории лиц, связанных между собою общностью умственного облика.

Непропорциональность, характеризующая физическое развитие выродившихся субъектов, замечается у них также и в психическом отношении. Асимметрии лица и черепа соответствуют ненормальные умственные способности. Один не развит, другие болезненно возбуждены. Почти у всех больных этого рода отсутствуют чувства нравственности и справедливости. Для них не существует никакого закона, никакого приличия, никакого стыда. С величайшим спокойствием и самодовольством они совершают преступления и зазорные поступки для того только, чтоб удовлетворить минутному влечению, склонности, капризу, и удивляются, что другие им не сочувствуют. Когда эти симптомы проявляются более явственно, тогда говорят о «нравственном помешательстве» (*moral insanity*) Модсли. Но есть легкая степень этого патологического состояния, когда человек хотя и не совершает уголовных преступлений, однако теоретически их оправдывает и философствует о том, что добро и зло, добродетель и порок – понятия совершенно произвольные, восхищается злодеями и их преступлениями, открывает в вульгарном и отталкивающем мнимые красоты и старается внушить сочувствие к проявлениям чисто животных инстинктов. Психологические источники нравственного помешательства во всех степенях его развития заключаются в сильно развитом эгоизме и непреодолимых влечениях, т. е. неспособности противиться внутреннему влечению, побуждающему совершить какое-нибудь действие. Это два главных признака вырождения. В следующих главах я еще вернусь к этому предмету и выясню, вследствие каких органических причин и каких особенностей мозга и нервной системы психопаты отличаются эгоизмом и импульсивностью. Теперь же я хотел только указать на самый признак.

Другой умственный признак вырождения составляет легкая возбудимость. Морель считает этот признак даже главным, но, по моему мнению, это неверно, потому что он в той же степени встречается у истеричных, даже у совершенно нормальных людей, временно истощенных болезнью, сильным душевным потрясением или другой преходящей причиной. Но тем не менее признак этот действительно по большей части свойствен вырождению. Психопаты смеются до слез или горько плачут по какому-нибудь сравнительно пустому поводу. Самый обыкновенный стих или строка в прозе вызывают в них дрожь; они приходят в экстаз от заурядной картины или статуи, в особенности же их волнует музыка, как бы ни было бездарно данное

произведение. Они гордятся тем, что у них такая впечатлительная к музыке натура, и хвастаются, что все их существо потрясено, что они ощущают красоту до мозга костей, в то время как обыкновенный смертный остается совершенно равнодушным. Легкая возбудимость представляется им превосходством; они воображают, что у них особое чутье, и презирают профана, грубым нервам которого недоступно понимание красоты. Несчастные не подозревают, что они гордятся болезнью и хвастаются помешательством, а некоторые глупые критики бессознательно вторят этому помешательству, силясь, из опасения прослыть невеждами, превознести в высокопарных выражениях красоты, открытые этими субъектами в самых заурядных или даже просто смешных произведениях искусства.

Наряду с нравственным помешательством и легкой возбудимостью вырождение характеризуется также состоянием душевного бессилия и унынием, проявляющимся, смотря по обстоятельствам, в виде пессимизма, неопределенной боязни людей и всего на свете или отвращения к самому себе. «Этого рода больные, – говорит Морель, – чувствуют постоянную потребность жаловаться, плакаться, повторяют одни и те же сетования с таким однообразием, которое просто приводит других в отчаяние. Они одержимы бредом ожидающего их несчастья или гибели и представлениями о всевозможных воображаемых напастях». «Я не могу отделаться от чувства отвращения к самому себе», – говорит один из таких больных, с историей которого знакомит нас Рубинович. К числу умственных признаков вырождения, по словам того же автора, относится еще и та неопределенная боязнь, которую больные проявляют всякий раз, когда им приходится что-нибудь рассматривать, обонять или до чего-нибудь дотронуться. Он также упоминает об их «бессознательной боязни всех и всего». В этом изображении унылого, мрачного, сомневающегося в себе и во всем мире меланхолика, терзаемого опасением неизвестного и видящего вокруг себя разные ужасы, мы узнаем человека *fin de siècle*, обрисованного нами в первой главе.

В связи с угнетенным состоянием духа обыкновенно замечается и нерасположение действовать, доходящее иногда до отвращения ко всякого рода деятельности и до полного ослабления воли (абулии). Человеческий ум, подчиняясь закону причинности, старается, как известно, объяснить все свои решения понятными мотивами. Еще Спиноза прекрасно выразил это в следующих словах: «Если бы брошенный человеческою рукою камень мог думать, то он, наверное, вообразил бы себе, что он летит, потому что хочет лететь». Многие душевные состояния, равно как и поступки, в которых мы вполне отдаем себе отчет, являются последствием причин, которых мы не сознаем. Тогда мы придумываем для них мотивы, удовлетворяющие нашей потребности находить во всем ясную причинность, и охотно убеждаем себя, что мы нашли им верное объяснение. Психопат не подозревает, что его бесхарактерность, леность, неспособность к действию вызывается наследственными пороками мозга, и убеждает самого себя, что он презирает труд, а чтобы оправдать себя в собственных глазах, он создает философию отречения, удаления от мира, человеконенавистничества, толкует о том, что он убедился в превосходстве квиетизма, называет себя с гордостью буддистом и в поэтических выражениях прославляет нирвану как высший и самый достойный идеал человеческого духа. Психопаты и помешанные – естественные последователи Шопенгауэра и Гартмана, и им стоит только познакомиться с буддистами, чтобы примкнуть к ним.

В связи с неспособностью к деятельности находится склонность к бесплодной мечтательности. Психопат не в состоянии долго сосредоточить внимание на одном предмете, верно понять и упорядочить свои впечатления и выработать из них ясные представления и суждения. Ему гораздо легче лелеять в своих мозговых центрах неясные, как в тумане расплывающиеся картины, едва созревшие зачатки мысли и предаваться постоянному опьянению неопределенными, бесцельными представлениями; он редко собирается с силами, чтобы противодействовать чисто внешнему сочетанию идей и образов и установить некоторый порядок в диком хаосе вечно расплывающихся представлений. Напротив, он гордится силой своего воображе-

ния, противопоставляемого им трезвой буржуазной мысли, и с особенною любовью посвящает себя всякого рода свободным художествам, позволяющим ему витать в эмпириях, так как он решительно не в состоянии выдержать труда, требующего внимания и точного уяснения себе действительности. Он называет это идеальным настроением, приписывает себе непреодолимые эстетические влечения и с гордостью называет себя художником (Шарко).

Мы вкратце остановимся на особенностях, часто представляемых психопатами. Они обуеваемы сомнениями, вечно задаются вопросом о причине явлений, особенно таких, которые совершенно недоступны нашему пониманию, и признают себя несчастными, когда все их размышления и расспросы ни к чему не приводят. Они постоянно пополняют ряды изобретателей метафизических систем, глубокомысленных истолкователей мировых вопросов, людей, посвящающих себя отысканию философского камня, квадратуры круга и вечного двигателя. Особенно три последних вопроса имеют для них такую притягательную силу, что, например, вашингтонское бюро для выдачи привилегий должно всегда иметь в запасе ответные бланки для лиц, ходатайствующих о патентах на разрешение упомянутых фантастических проблем. По исследованию Ломброзо, писания и поступки многих анархистов также объясняются вырождением. Психопат не способен приспособляться к данным условиям. Эта неспособность составляет вообще отличительную черту всех ненормальных видов того или другого типа, и в ней заключается, вероятно, одна из главных причин быстрого их вымирания. Поэтому такой субъект восстает против воззрений и условий, которые ему тягостны уже потому, что налагают на него обязанность владеть собою, на что он вследствие органической своей бесхарактерности неспособен. Таким образом, он вечно старается пересоздать мир и сочиняет планы спасения человечества, которые отличаются одновременно горячей любовью к ближнему, трогательной искренностью, нелепостью и почти невероятным незнанием действительности.

Наконец, еще одним из главных признаков вырождения является мистицизм. «Из всех проявлений, свойственных людям, одержимым наследственным бредом, – говорит Колен, – самым характеристичным является мистический бред, или, если дело еще не дошло до бреда, то постоянное поглощение больного мистическими и религиозными вопросами, его чрезмерная набожность» и т. д. Я здесь воздержусь от выдержек и примеров. Впоследствии, когда я буду говорить о мистической поэзии и искусстве, мне представится случай показать читателю, что между этими течениями и религиозным бредом, наблюдаемым почти у всех психопатов и людей, одержимых наследственным помешательством, нет никакой разницы.

Я перечислил все характеристические признаки вырождения. Читатель может теперь сам судить, насколько поставленный мною диагноз вырождения применим к эстетикам новой школы. Не следует, однако, думать, что вырождение и отсутствие таланта совпадают. Почти все исследователи этого явления приходят к диаметрально противоположному выводу. «Выродившийся человек, – говорит Легрен, – может быть гением. Ум, лишенный надлежащего равновесия, чреват самыми высокими идеями, но в то же время способен на низость и мелочность, поражающие тем сильнее, что они идут рука об руку с блестящими способностями». Эту оговорку мы найдем у всех писателей, занимавшихся вопросом о вырождении. «Выродившийся субъект, – говорит Рубинович, – может достигнуть значительного умственного развития, но в нравственном отношении его жизнь представляет печальную картину... Он пользуется своими блестящими способностями как для достижения великой цели, так и для удовлетворения самых недостойных наклонностей». Ломброзо в своей книге «Гениальность и помешательство» приводит перечень несомненно гениальных людей, которые в то же время были маттоидами, графоманами или просто сумасшедшими, а один французский ученый, Ласег, решился произнести крылатые слова: «Гениальность – это вид нервного расстройства». Это были очень неосторожные слова, потому что они дали невежественным болтунам повод говорить как будто с некоторым основанием о преувеличении и осмеять психиатров за то, что они будто бы видят сумасшедшего во всяком человеке, возвышающемся над самыми обыкновен-

ными людьми. Наука вовсе не утверждает, что всякий гений – непременно сумасшедший. Есть здоровые, сильные люди между гениями, и преимущество их заключается именно в том, что у них наряду с необычайным развитием одной какой-нибудь способности и другие не ниже обыкновенного уровня. Точно так же нельзя утверждать, будто всякий помешанный – гений; не говоря уже о различного рода слабоумных и идиотах, большинство сумасшедших вообще глупо и малоспособно. Но «выродившиеся субъекты высшего порядка» Маньяна, отличаясь громадным ростом или чрезмерным развитием некоторых отдельных органов, обладают какой-нибудь одной выдающейся способностью, чрезмерно развитой насчет других, которые, таким образом, отчасти или вполне атрофированы. По этим-то признакам специалист отмечает с первого взгляда здорового гения от «выродившегося субъекта высшего порядка». Отнимите у гения то дарование, которое ставит его так высоко над толпой, и он тем не менее останется человеком очень умным, дельным, нравственным, здравомыслящим, который с честью займет всякое общественное положение. Но попробуйте отнять у психопата его дарование, и вы получите только преступника или сумасброда, ни к чему не пригодного в жизни. Если б Гёте не написал ни одного стиха, он все-таки остался бы необычайно умным и порядочным человеком, тонким ценителем искусства, эстетиком-коллекционером и замечательным знатоком природы. Наряду с ним представим себе Шопенгауэра: если бы он не был автором удивительных книг, то мы имели бы пред собою только антипатичного эксцентрика, который не мог бы быть терпим среди порядочных людей и место которого было бы прямо в доме для умалишенных, так как он, видимо, страдал манией преследования. Беспорядочность ума, неуравновешенность, беспомощность способностей выродившегося гениального субъекта бросаются в глаза всякому трезвому наблюдателю, не подчиняющемуся крикливым похвалам болезненно настроенных критиков: он всегда отличит психопата от нормального выдающегося человека, указывающего людям новые пути и приводящего их на высшую ступень развития. Я не разделяю мнения Ломброзо, будто бы гениальность, вызываемая вырождением, содействует прогрессу человечества. Лица, обладающие такой гениальностью, подкупают, ослепляют, к прискорбию, производят нередко сильное впечатление, но оно всегда вредно. Это не замечается с первого взгляда, но постепенно обнаруживается. Если современники и ошибаются на этот счет, то история исправляет их ошибку. Люди эти также ведут человечество к новым целям, по новым, открытым ими путям. Но пути их приводят в пустыни или к пропастям. Они не путеводители, а блуждающие огни. Все исследователи прямо указывают на бесцельность их дарований. Тарабо говорит: «Это – эксцентрики, неясные умы, люди, утратившие равновесие или неспособные; они принадлежат к числу тех существ, о которых нельзя сказать, что у них нет ума, но ум их не создает ничего полезного». Легрен пишет: «Их соединяет общая характеристическая черта: слабость суждения и неравномерное развитие умственных способностей. В сочетании представлений они проявляют бессилие. Их мозг не рождает великих идей, плодотворных мыслей. Это обстоятельство составляет странное противоречие с часто необыкновенно развитым у них воображением». «Когда они художники, – говорит Ломброзо, – то характеристической способностью их является сочность красок, их живопись отличается декоративностью. Когда они поэты, то они обладают богатой рифмой, блестящей формой, но отсутствием идей; зачастую они декаденты».

Таковы самые даровитые из тех, которые отыскивают в искусстве и литературе новые пути и провозглашаются пылкими учениками провозвестниками будущего. Между ними господствуют маттоиды или психопаты. Что же касается толпы, которая с восторгом внимает им и идет за ними, которая подражает придуманным ими модам и предается описанным в предыдущей главе странностям, то к ней большею частью применим второй из диагнозов: тут мы имеем дело преимущественно с истеричными неврастениками.

Истерия по причинам, которые мы выясним в следующей главе, до сих пор в Германии гораздо меньше изучалась, чем во Франции, где ею занимались самым серьезным образом. Все,

что нам о ней известно, мы заимствовали почти исключительно у французов. Наши знания об этой болезни почерпнуты главным образом из обширных исследований Аксенфельда, Рише и в особенности Жиля де ла Туретта, и на этих-то ученых мы и будем главным образом ссылаться при выяснении разных особенностей истерии, которая, заметим здесь мимоходом, встречается не только у женщин, но, пожалуй, еще чаще у мужчин.

Как у истеричных, так и у психопатов прежде всего бросается в глаза их легкая возбуждаемость. «Характеристическая черта, присущая истеричным, – говорит Колен, – необыкновенная восприимчивость их психических центров». Из этого первого свойства неизбежно вытекает и второе, не менее важное и бросающееся в глаза, это необыкновенная легкость, с которой они подчиняются внушению. Прежние наблюдатели постоянно говорили о безграничной лживости истеричных, приходили от нее даже в негодование и считали ее главным отличительным признаком их душевного состояния. Но они ошибались. Истеричный лжет бессознательно. Он сам верит нелепейшим своим измышлениям. Болезненная подвижность его ума, чрезвычайная возбуждаемость его фантазии порождают разные причудливые и нелепые представления; он внушает самому себе, что эти представления имеют фактическое основание, и до тех пор верит своему вздорному вымыслу, пока новое внушение, исходящее от него самого или от постороннего лица, не вытеснит в нем первого. Последствием склонности истеричных поддаваться внушению является непреодолимое стремление их к подражанию и усердие, с каким они следуют указаниям писателей и художников. Когда истеричный видит какой-нибудь портрет, он подражает костюму и манере держать себя изображенного на нем лица; когда он читает книгу, он слепо воспринимает выраженные в ней мысли, героев романа он ставит себе в образец и живет чувствами действующих лиц.

Наряду с легкой возбуждаемостью и впечатлительностью у истеричного замечается влюбленность в самого себя, никогда не принимающая таких широких размеров у здорового человека. Его собственное «я» представляется ему до такой степени громадным и так всецело наполняет его умственный кругозор, что застилает для него все окружающее. Он не потерпит, чтоб другие его не заметили. Он хочет, чтобы окружающие придавали ему такое же важное значение, какое он сам себе придает. «Истеричного неотвязчиво и назойливо преследует потребность занимать окружающих своей личностью», – говорит Жиль де ла Туретт. С этой целью он выдумывает разные истории, которыми старается заинтересовать слушателей. Отсюда рассказы о самых фантастических приключениях, поднимающих иногда на ноги даже полицию и газетных репортеров. В самых многолюдных улицах на него нападают, осыпают его побоями, ранят, уносят в глухую отдаленную часть города и бросают там на произвол судьбы полумертвым. Он с трудом поднимается и дает знать о случившемся полиции. Он передает ей мельчайшие подробности происшествия и показывает знаки насилия на своем теле. И при всем том в рассказе нет ни слова правды: все выдумано, сочинено, и раны-то он сам себе нанес, чтоб на минуту обратить на себя общее внимание. При легкой форме истерии эта потребность занимать всех своей личностью проявляется в безобидной форме. Она выражается странностями в костюме и обращении. «Истеричные до страсти любят яркие цвета и необыкновенные фасоны; им хочется обратить на себя внимание и заставить говорить о себе» (Легрен).

Нам нечего указывать на полное совпадение этой клинической картины с нашим описанием общества «конца века». Мы находим в них очень много общих черт. Такова в особенности склонность походить внешностью, костюмом, прической, бородой, манерой держать себя на старинные и новые картины и лихорадочное стремление обратить на себя внимание какой-нибудь особенностью и заставить говорить о себе. Наблюдение над выродившимися и истеричными субъектами, пользовавшимися врачебной помощью, дает нам ключ к уяснению себе и второстепенных деталей современных мод. Страсть современников к коллекциям, переполне-

ние квартир ненужным хламом, который не становится лучше или полезнее оттого, что ему придают нежное название *bibelots*⁵

⁵ Безделушки (*фр.*).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.